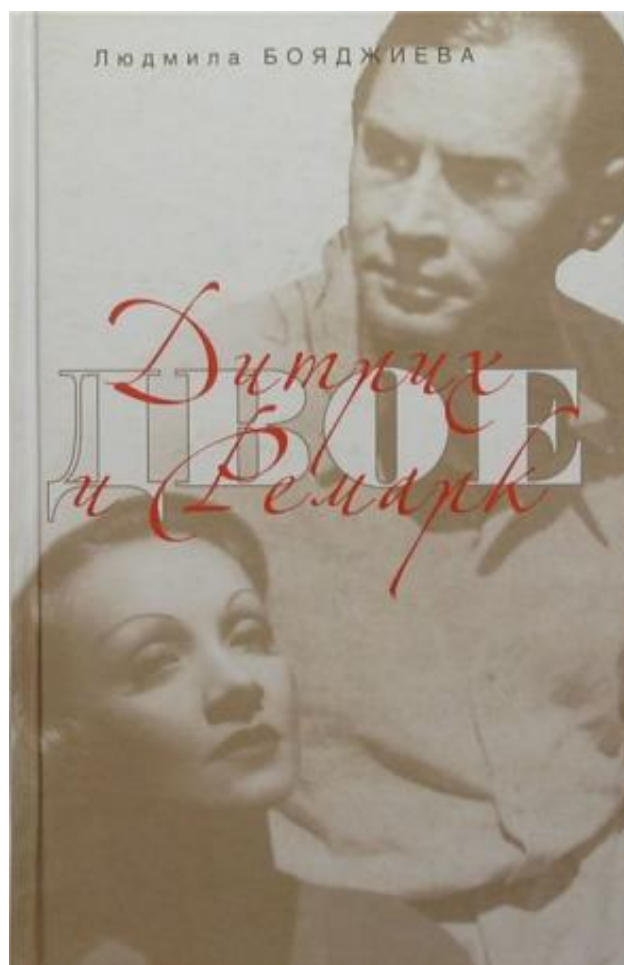


## Людмила Владиславовна Бояджиева Дитрих и Ремарк



### Аннотация

*История любви Актрисы и Писателя, рассказанная Людмилой Бояджиевой, в деталях, настроении отчетливо напоминает произведения о потерянном поколении, выброшенном войной в мир. Их роман, длившийся четыре года, окончился болезненным разрывом (отголоски боли, посеянной в душе писателя, — в «Триумфальной арке») и... проникновенными письмами, которыми они не прекращали обмениваться до смерти Ремарка. Впрочем, это тоже вполне в духе романов Ремарка, так, как и положено в ролях Дитрих.*

## Людмила Бояджиева Дитрих и Ремарк

### Пролог

— Сумасшедший! Отпусти! — Держась за его плечи, она отстранилась, закинув голову. — Я же тяжелая — сорок восемь килограммов живого веса, восемь бриллиантов по четыре карата и дюжина лисиц!

— Не получается. Приросла — здесь и здесь. — Он теснее прижал к груди драгоценную ношу. Каскады воздушного шифона и легчайшего белоснежного меха слились с черным смокингом — казалось, он нес облако. — Это навсегда.

— Эй! В таком виде мы не заработаем ни гроша. Если только не станем выступать в цирке как сиамские близнецы. — Марлен поставила парчовые туфельки на мягкий ворс, выпрямилась и огляделась: — Фантастично! Крыша, покрытая ковром... А там, у трубы — заросли сирени!

— Голливудские штучки. Нельзя же лишать диву экрана привычных чудес. — Он шутливо шаркнул ногой. — Рады стараться, мэм!

— Не напоминай мне про американцев! Тупые идиоты. Никто из них не додумался бы до такого. Это чудеса Ремарка, — Марлен положила руки ему на плечи и заглянула в глаза особым, «дитриховским» взглядом. Взгляд расплавлял даже стальные сердца, а сердце Бони уже и так лежало на ее ладони, послушное малейшему зову, бьющееся ради нее.

— Хитрюга! Ты заранее устроил все это. А я-то все гадала, почему ты затащил меня именно в этот ресторан...

— Я придумал все еще вчера, когда ты прогуливала меня по Парижу в сопровождении свиты обалдевших фанатов. Я решил, что мы непременно останемся только вдвоем в самом центре возлюбленного тобой города. Здесь только то, что ты любишь. — Эрих извлек из огромной корзины и поднес Марлен ветку белой сирени. Она осторожно взяла ее обтянутой в тонкую перчатку рукой и поднесла к ярко очерченным губам, темневшим на чистом мраморе лица. Он коснулся ее запястья и гордо откинул плечи, он хотел что-то сказать. Нет, произнести. Торжественно произнести. Марлен плавно отвернулась, с интересом осматриваясь.

— Метрдотель постарался — устроил салон на заброшенной крыше. Здесь даже остались лужи после дождя. Я могла бы промочить ноги. Ковер весьма кстати. Спасибо, любовь моя!

— Как я молил, что бы этот дурацкий ливень кончился! Мне так надо было сказать тебе... Сказать именно здесь...

— Нет, нет, ты только посмотри — мы летим! — Марлен кинулась к витому чугунному парапету, за которым лежал ночной город. — Волшебно! Пахнет сиренью и бензином.

— Пахнет счастьем, — Эрих не удержал вздох. — Летучим и призрачным.

— На то оно и счастье, что бы не вываливаться как сосиски из автомата. Оно должно быть очень дорогим и за него всегда должно быть немного страшно. — Она чуть наклонилась, заглядывая вниз. Ветер подхватил белый шифон длинной накидки, и прозрачные крылья затрепетали за узкой спиной. Белоснежные лисьи шкурки, нашитые на тонкую ткань, окутали плечи, лежали туманным облаком у ее туфель. Марлен воздела руки и прошептала, как заклинание: — Париж у наших ног!

Вокруг, сливаясь со светящимся куполом небес, лежал залитый огнями город. Крыши, мансарды, башни, шпили церквей, золотая стрела Эйфелевой башни, сплошное серебро Елисейских полей, светящиеся потоки авто рек — все переливалось и дышало в прохладном ночном воздухе. Марлен закружилась, подняв лицо.

— Кажется, что мы в центре Вселенной! А звезд не видно! Бони, здесь нет звезд?

— Их затмевает сияние Парижа. Когда ты приедешь в мое имение у озера, увидишь как их много и все — мои знакомые. Есть даже близкие приятели — весьма солидные созвездия. Я представлю им тебя... — Ремарк запнулся и шлепнул ладонью по лбу: — Вот умник нашелся! Вздумал протезировать! Ты же у них главная! Главная — и моя! — он обнял ее за гибкую талию. Теплая плоть под нежной тканью, горячая молодая кровь, бегущая по голубым жилкам... Живая... Живая богиня.

— Однажды в Голливуде запустили самолет, что бы он белой струей чертил в небе мое имя. Представляешь? МАРЛЕН! Все видели и все знали: Марлен — единственная на Земле. А теперь их тысячи.

— Тысячи повторенных в твою честь имен — всего лишь эхо... Говори, говори! — он нежно касался губами ее шеи, ощущая, как под тонкой кожей вибрирует ее горло. — Ты всегда была и будешь единственная. И моя!

— Бони! — Отстранив его, Марлен строго всмотрелась в лицо, темневшее над пластроном рубашки. Гордые, четкие аристократические черты. Капризный рот сластолюбца и огонь в глазах, который был ей необходим больше воздуха — мощное излучение неподдельной любви. — Почему Бони? Имя Эрих тебе подходит куда больше — эти породистые ноздри, нервные руки: Э-рих!..

— Мои мужественные друзья автогонщики считали по иному. Бони — нечто опереточное, с прискоком. Этаким неуклюжий тюфяк, попадающий в дурацкие ситуации. Именно таким я и был. Хотя стремился совершенно к иному амплуа. Купил титул, носил монокль! Этаким первый любовник из мелодрамы и непременно — граф! Знаешь, я ведь ужасно тщеславен — всегда мечтал иметь самое лучшее.

— У тебя пошаливает вкус, мой милый, — Марлен прислонилась спиной к парапету — вокруг нее мерцало сияние. Бриллиантовая брошь рассыпала искры, запах духов окрашивал мир в тона изысканности и роскоши. — В стремлении к самым дорогим вещам есть нечто... ну... не комильфо. Истинный джентльмен не падок на эффекты. Менее броское более надежно.

— Какой джентльмен! В городке, где я родился, коров было больше, чем людей и вечно стоял запах навоза. Мальчишкой я пас коз! Джентльмен! Насочиняли всякого. Парвеню, любовь моя, твой Бони — тщеславный парвеню. Самая прекрасная и знаменитая женщина на свете — как раз для него.

— Козы и коровы — это не про тебя. Ты великий писатель, любовь моя. Об этом знает весь мир, — Прильнув к Эриху, Марлен посмотрела на город. Тени от загнутых ресниц падали на ее щеки. — Во всех этих домах лежат твои книги. Их читают и восхищаются. Все знают, кто такой Эрих Мария Ремарк.

— Во всех этих окошках тысячи людей сейчас всматриваются в темноту, плюща носы о стекло, чтобы разглядеть нечто, зовущее их. Кто-то подавился, доедая ужин, кто-то без сна ворочается на перине или торопливо выпивает у камина. Кто-то с сомнением смотрит на барометр или меряет себе температуру — они не понимают, в чем дело, слышат стук своего сердца и ощущают близость некой грандиозной аномалии. Они не знают, что ты здесь, рядом, и лишь шепчут имя — «Марлен». Даже каштаны поднимают цветущие свечи — тебе!

— Кроны совсем близко — ступишь и пойдешь по веткам... Но там! Смотри, вон там, налево! Это Триумфальная арка! Вчера я стояла под ней — грозной и немного смешной — засиженной голубями. Сейчас она кажется золотой и могучей, — Марлен вдруг нахмурилась, крутя пуговицу на его смокинге. — И как ты думаешь, она... она подойдет нам? Нашим победам?

— Как раз впору. Она стоит здесь давно, будет стоять и тогда, когда мы приползем сюда стариками. Семидесятилетними развалинами. Увы, я уже не смогу поднять тебя, радость моя. Но не надейся избежать поцелуев. Представь: такой сладострастный дедуля с вечно жадными глазами...

— Какой-какой? — Марлен прильнула к нему всем телом.

Поцелуй был бесконечен. Наконец, она вырвалась:

— Нет! Я не хочу! Не хочу париков и вставных зубов. Не хочу забвения! Зачем мне старость? Я умру молодой. Я это знаю.

— Ты не посмеешь бросить меня! — Он взгляделся в ее лицо, околдовывающее нездешним совершенством, причастностью к великой тайне. — Ты вообще не можешь умереть.

Марлен расхохоталась:

— Договорись со своими заездами, пусть они устроят нам пропуск в вечность.

— Договорюсь, — он взял ее руки в свои и крепко сжал. Карие глаза, затененные бархатной чернотой, смотрели торжественно и серьезно.

— Заключим союз: давай никогда не умирать, любимая!

Он прижались друг к другу и долго стояли так, не открывая глаз. Они не видели, как закружил и двинулся вокруг них каруселью сверкающий ночной Париж — крыши, окна,

цветущие каштаны, реки автомобилей, купола, бойницы, химеры, насмешливые флюгера и строгие очерки золотых крестов на шпилях — все они многое повидали, но о бессмертии знали далеко не все. И вот теперь...

Полуопустив знаменитые веки, Марлен Дитрих смотрела на стоящего перед ней издателя с холодным терпением.

Она нуждалась в деньгах и была уверена, что на ее мемуарах издательство хорошенько нагреет руки, как обогащались все, прикасавшиеся к ее имени. Публика с жадностью проглотит сочинения Дитрих, как бы далеки от правды они ни были.

Мадам Дитрих удалось описать свою жизнь, оставив «за кадром» все, что не соответствовало мифу о добродетельной жене, заботливой матери, прекрасной хозяйке, требовательной актрисе, героине фронтовых бригад, вдохновлявшей бойцов перед боем с фашистами. Главной миссией ее жизни была помощь ближнему, а движущей силой — сострадание.

— ...И все же, кто был вашей великой любовью, Марлен?

— Идиотский вопрос! Ублюдочная манера все ранжировать и обклеивать ярлыками. Эта любовь — великая, та — поменьше, та — совсем недомерок... Я даже жгучий перец в мясо по-сербски всегда бросала на глазок.

— Но ведь кто-то ранил ваше сердце сильнее других? — заглянул снизу в неподвижное лицо.

— Вы странный... Разве можно сравнивать? — она подняла брови. — Ну... Пусть будет Жан... Или Равик? Да — лучше Равик. Он умел быть таким милым... — Она медленно повернула голову и посмотрела на портрет мужчины с тонкими чертами лица и глазами хищной птицы. — Так звали героя Ремарка в «нашей книге»...

Ее взгляд устремился вверх, словно уносясь в просторы небес, сиявшие утренней чистотой за этажами и перекрытиями.

— Скажите консьержу, чтобы он поднялся ко мне. И не забудьте хорошенько прикрыть за собой дверь.

Она давно уже не ходила и теперь ждала консьержа, чтобы переместиться в спальню на спрятанном от посетителя инвалидном кресле. Снять парадную «упаковку» — парик, костюм, мучившие ноги чулки и туфли, швырнуть в вазочку фальшивые бриллианты, отхлебнуть пару глотков «успокоительного» и свернуться калачиком на краешке широкой постели.

...Париж праздновал великое чудо обычного октябрьского дня — золото, солнце, синева и вечный запах фиалок — все, что она так любила. Издатель в сером костюме подошел к своему автомобилю и, прежде чем нырнуть в полумрак салона, оглянулся на оставленный дом. Окна комнат Марлен Дитрих были плотно зашторены, и никто — ни зеваки, ни фанаты, ни любопытные туристы — не толпился на тротуаре, не нарушал ее покой...

## Стальная орхидея

### 1

Она — мегазвезда, возлюбленная нескольких поколений зрителей, реальная возлюбленная легиона выдающихся мужчин XX века, икона, символ моды, стиля.

Он — знаменитый писатель, запечатлевший образ «потерянного поколения», выброшенного войной, создавший противостоящих этой потерянности героев — олицетворение стойкости духа и мужского шарма. Успешный и любимый яркими женщинами ценитель живописи, вин, автомобилей, интригующий воображение читателей на протяжении долгих десятилетий даже после своей смерти.

И у него, и у нее — не первая и не последняя любовь. Но эта — главная, изменившая состав крови, течение мысли, осознание себя и мира. Завершившая свой цикл, но так и не умершая, как продолжают светить давно погасшие звезды.

Любовь — это всегда двое. Но один пылает ярче, отдает больше, страдает сильнее, платит дороже. Второй — дарует вдохновение, воспламеняет страсть.

В этом романе ОНА — предмет поклонения, божество, принимающее дары и жертвы. Она — по праву заслужившая имя величайшей женщины века.

Марлен всегда была гораздо больше, чем просто «звезда», больше, чем актриса и певица, — с самого начала своей карьеры она была фетишем, человеком, направляющим и задающим тон в стиле и моде, и даже больше — она была культурным символом. Символом, который с середины 30-х годов являлся эталоном красоты и шарма, женственности и андрогинности, любви и романтических фантазий, гражданского мужества и сексуальной свободы.

Для миллионов поклонников по сей день Дитрих — идеал голливудской дивы, явившийся из мерцающих глубин заэкранной сказки, со всеми атрибутами шика, роскоши, манящих тайн «фабрики грез». В ауре ее власти — смесь упоительных привилегий любимцев фортуны: восторг толпы, сгорающие от страсти великие возлюбленные, море цветов, изысканных удовольствий, нескончаемое благоденствие славы, власть, преклонение, деньги...

Она — Марлен Дитрих — возлюбленная камеры, вся в мерцании полупрозрачных шелков и бриллиантов, с непроницаемым лицом королевы. Неожиданная, невозможная, необъяснимая, сотканная из противоречий, вызывающая негодование и восхищение.

Марлен — сама любовь, сама страсть, само вожделение. На киноплёнке, на фотографиях, в свете сценических прожекторов. А в обычной жизни? У Марлен нет обычной жизни, Марлен творит легенду, влетая в свой сюжет тех, кто летел на ее ослепляющий свет.

Марлен — Галатhea и Пигмалион в одном лице. На протяжении долгих десятилетий она работала на собственную легенду. Она лучше всех знала, как гримировать, причесывать, как одевать ее тело, выдерживая высоту требовательности вплоть до последней мелочи — оттенка чулок или устройства потайной застежки. Марлен неизменно контролировала киносъёмку, тщательно следила за подбором рекламных фотографий, собственноручно ретушируя лучшие. Главным средством ее магического преображения была одежда. Марлен считали законодательницей моды, множество марок женской одежды носило ее имя.

Роскошные, сражающие наповал туалеты являлись частью облика Марлен Дитрих, должно стать фетишем современников и запечатлеться в вечности. Стиль Дитрих — это сама Марлен, недостижимая величина, которая вошла в жизнь века и стала идолом миллионов жителей планеты.

Объяснение ее исключительности не стоит искать в особом актерском таланте или незаурядных внешних данных. В основе феномена Марлен Дитрих лежит редкое сочетание одаренности психосоматического свойства и некоего почти мистического благоволения фортуны. Ей подчинялись все — природа, люди, даже само везение. Фортуна послушно подыгрывала своей любимице, помогая выйти победительницей из самых щепетильных ситуаций, даже тогда, когда стерла бы в порошок любого другого.

Она и в самом деле была Избранной. Действуя по известным лишь ей законам, природа наделила эту женщину необычайной энергетикой. Марлен отличалась редкой физической выносливостью, она не болела, не уставала, долгие годы, вплоть до

глубокой старости, не нуждалась в элементарных лекарствах — снотворном или успокоительном. Могла сутками оставаться без сна и отдыха, работать и веселиться напропалую, сохраняя бодрость и свежесть. Ее тело оставалось неувядаемым, темперамент неукротимым на протяжении очень долгой, перенасыщенной событиями жизни. Рак отступил без всякого усилия с ее стороны, наркотики, к которым она пристрастилась в финале, подчинялись ее воле, как подчинялись Марлен даже очень сильные личности, встречавшиеся в изобилии на ее жизненном пути.

С детства осознавая свою исключительность, Дитрих наделила себя чрезвычайными полномочиями. Она взяла на себя ответственность формировать реальность в соответствии с собственными представлениями и потребностями. Она создала свою систему ценностей, и ей хватало воли, ума, а зачастую и цинизма, чтобы следовать ей неотступно.

«Редко, когда человек такой красоты и таланта, и способный на столь многое, ведет себя в абсолютном соответствии со своими понятиями о добре и зле, имея достаточно ума и смелости предписывать себе собственные правила поведения», — напишет о ней Эрнест Хемингуэй. А назначив центром отсчета себя, не задумываясь, совершала насилие над условностями, фактами, требованиями морали, интересами близких, подминая их под себя. Избранным, вознесенным столь высоко над прочими смертными, сомнения неведомы.

Она никогда не отмечала свои дни рождения и злилась на близких, напоминавших о них, как, впрочем, и на тех, кто, несмотря на запрет, забывал прислать поздравления. Возможно, она хотела подчеркнуть, что время, неумолимо движущееся к старости и печальному финалу, не властно над Марлен. А может быть, из-за нестыковки дат — ведь она упорно уменьшала свой возраст на несколько лет, неизбежно смещая все этапы личной жизни.

Мария Магдалена Дитрих родилась 27 декабря 1901 года. Вторая дочь в семье Йозефины Фельзинг и Луиса Дитриха — светловолосого голубоглазого красавца майора прусской имперской полиции — повесы и смельчака. Юная Йозефина, воспитанная по канонам немецкой добродетели (кухня — церковь — дети), была дочерью знаменитого часовщика-ювелира, имевшего собственный роскошный магазин на центральной улице Берлина — Унтер-ден-линден. Молодая чета, пребывающая в счастливом благоденствии в цветущем пригороде столицы Шенеберге, произвела на свет двух дочерей — старшую Элизабет и младшую Марию Магдалену. Увы, молодой отец погиб в 1915-м на фронтах Первой мировой войны, его место занял заботливый отчим — полковник Эдуард фон Лош, давший девочкам свою фамилию. Но и фон Лоша, с радостью исполнявшего обязанности заботливого отца и супруга, вскоре отняла война. Овдовевшая теперь уже навсегда Йозефина растила дочерей одна.

Старшая сестра, по-домашнему — Лизель, тихоня, дурнушка, добрая душа, и умненькая, хорошенькая, активная Лена (так в семье называли Марию Магдалену) воспитывались соответственно с правилами «хорошей конюшни». С детства Мария получала все необходимое, что позже даст основание говорить о ее уме, образованности и утонченности чувств. Гувернантки и строгая мать прививали девочкам чувство долга и ответственности, их учили иностранным языкам и ведению домашнего хозяйства. Три европейских языка, которыми легко владела Лена, оказались прекрасным багажом в ее жизненных странствиях. Недаром в своей биографии она дает ценное наставление: «Не старайтесь втолкнуть в детей слишком многое. Потом они припомнят вам все свои мучения. Но непременно учите иностранным языкам — это они вам простят».

Особое место в процессе воспитания ребенка из хорошего общества уделялось физическому совершенствованию. Сестры часами висели на канатах, закрепленных в прочных шейных воротниках, а после этой полезной для осанки процедуры подвергались тщательному массажу. С целью получения аристократически тонких лодыжек ноги девочек туго-натуго зашнуровывались в высокие ботинки.

Однако эти процедуры пошли на пользу лишь Лене. Неуклюжая Лизель легко смирилась с лидерством обожаемой сестры. Лена не умела лентяйничать и терять время попусту — энергия клокотала в юном теле. Она с серьезным постоянством занималась игрой на фортепиано и скрипке, полагая избрать стезю профессионального музыканта. Потом, когда карьеру скрипачки перечеркнуло порвавшееся на пальце сухожилие, девочка для души и тихого пения выбирала лютню. Фортепиано радовало, но все же посвящать всю жизнь сидению за инструментом Лене не очень хотелось. Она еще подросток, а в багаже уже так много — знание французского и английского, музыкальное образование, пристрастие к

чтению и приличная эрудиция, приверженность самодисциплине и откорректированное тело. Она еще плохо представляла, в какой жизненной сфере будет самоутверждаться, но то, что предстоит большая работа, понимала отлично и готовилась к бою. Магдалена уже ощущала себя Избранной.

Ей исполнилось тринадцать, когда она придумала себе подходящее имя. Долго воевала с буквами на немецкий и французский манер и наконец, совместив имена Мария и Магдалена с фамилией своего отца — прусского офицера Дитриха, она получила желаемый результат. Имя оказалось нежным и звучным. Это уж потом Жан Кокто напишет:

«Марлен Дитрих... Твое имя поначалу звучит как ласка, но затем в нем слышится щелканье кнута!»

Домашнее образование Лены продолжилось в пансионе Веймара — романтическом городе Гете и Шиллера. Как же пришлось по вкусу ее сосредоточенному на нежных чувствах воображению атмосфера дивного городка!

Лена заучивала стихи, играла на фортепиано и лютне, училась танцу по системе Айседоры Дункан, запоем читала Гете и Шиллера. Позже Кант составит круг любимого чтения девушки. Цитатами из этого далеко не легкого автора она будет щеголять всю жизнь. Допуская небольшое преувеличение в степени увлеченности фрейляйн Лош философскими трудами, заметим, что даже знание таких имен, как Кант, Ницше или Шопенгауэр, не так уж часто украшает интеллектуальный багаж кинозвезд. Да она и не помышляла о театральных подмостках или экранной славе.

Как сообщает дневник Лены, она думает лишь об одном — о любви. О любви вообще, в духе шиллеровских драм — о восторженной пылкости чувств, равно захватывающей ее, будь то мужчина, ровесник мальчишка или очаровательная юная родственница. Лена обожает свою учительницу француженку, совершенно влюблена в молодую элегантную тетюшку Валли, в учителя, соседского недотепу, в звезду немого синема. Она переполнена влюбленностью и молит Бога (в которого так до конца жизни и не поверит) послать ей горящий взгляд своего очередного идола или поцелуй в плечико.

«Хоть бы кто-нибудь поскорее женился на мне, тогда я забыла бы о своей музыкальной карьере. Если бы нашелся кто-то, кто полюбил меня, я была бы ему так благодарна! Я была бы так счастлива, если бы он говорил мне нежные-нежные слова и мы вышли бы с ним гулять под осенний листопад...» — это пишет девятнадцатилетняя девушка, доверяющая самое сокровенное своему дневнику. Не чересчур ли наивно? А как же с «жаркими объятиями» и страстью тела? Ни слова, никаких намеков на сексуальные мечтания. Не появятся они и после дурацкого эпизода с учителем игры на скрипке. Однажды он повалил свою ученицу на красный плюшевый диван классной комнаты, пыхтел, стонал и лишил ее невинности, не снимая брюк. Это событие не произвело на Марлен особого впечатления.

Сексуальная жизнь Марлен формировалась по собственным законам, в которых немалую роль играло чувство долга и жажда красивых чувств. Марлен, пережившая калейдоскоп романов самого разного калибра и качества, до конца жизни так и не смогла понять, почему такой пустяк, как смена партнеров в постели, считается признаком падения морали, некой сексуальной распушенности. Очевидно, так ей было удобнее. Ведь если властвующий над людьми король-эрос — ерунда, то и табу на интимную жизнь вне брака — глупости. «В мужчинах меня всегда больше всего привлекали руки и губы. Все остальное — приложение», — признается она в старости. Как и все откровения Марлен, не только сочинявшей собственную легенду, но и верившей в нее, это не очень похоже на правду.

## 2

Из пансиона в Веймаре Лена вернулась в Берлин, изнемогавший от послевоенной разрухи и инфляции.

Общественные структуры рухнули, мораль превратилась в анахронизм, на поверхность выплыли проститутки, бандиты, попрошайки, извращенцы.

Нищенство и процветающий класс дельцов, поднявшийся на волне инфляции, разделяет пропасть. В рабочих кварталах едят картофельную шелуху и тушеную капусту, экономят на отоплении и свете. Зато в районе Вестена нет места дешевым вещам и дешевым женщинам, здесь отдаются роскоши настойчиво, как ремеслу.

Преуспевающие тузы и состоятельные туристы спешат посетить достопримечательность Берлина — кафе Шоттенгамль — сказочную страну кулинарных чудес в несколько этажей с множеством отделанных на любой вкус залов. С Шоттенгамлем соперничает Фатерланд, где каждый зал изображает некую экзотическую местность с шоу, ревью и спецэффектами.

Театральная жизнь в столице бьет ключом. Открываются многочисленные мюзик-холлы, варьете и мелкие кабаре. Гёрлс-ревью вбирает в себя все, что может привлечь внимание, — машинерию, изделия модных портных и ювелиров.

В сытом, гуляющем напропалую Берлине настроение возбужденное. Общий стиль — держаться на свету, в толчее залитых неонам центральных улиц, опасно обходя темные переулки. Господствующий тонус — биологический. Бойкие шансонье и правительственные газеты славят жизнь, высоколобые философы и глубокомысленные поэты предрекают близкий конец.

Да, при смерти время.  
Ему на востоке  
Давно приготовлен осиновый кол.  
Уже наступают последние сроки.

«Запомните: кладбище не мюзик-холл», — зловеще предостерегает Эрих Костнер посетителей литературных кабаре Берлина. Страшным пророчеством упиваются — оно щекочет нервы, придает наслаждениям пряный привкус. Книга Оскара Шопенгауэра, предсказывающая закат Европы, столь же популярна, как джаз или теория относительности. Она будоражит нервы нового человека — унифицированного, безликого, рвущегося к наслаждениям.

Лена фон Лош обожает поэта Костнера, щеголяет цитатами из Шопенгауэра, с упоением юной силы и жажды приключений вращается в центре бурлящей жизни Берлина, насыщаясь ядовитым дурманом его атмосферы.

Элизабет пошла работать. Лена же, решив, что неудавшуюся музыкальную карьеру вполне можно подменить театральной, вопреки воле матери поступила в академию Макса Рейнгхардта. Мировая знаменитость, хозяин четырех сцен, блистательный режиссер-новатор, он возглавлял созданную им театральную школу, но практически образованием молодых актерских кадров занимались другие. Марлен не училась у Рейнгхардта, а он не «открывал» ее, как бы красиво ни ложилась эта версия в биографию будущей знаменитости. Но зато Лене удалось показаться во многих мелких ролях его театров. Актриса на выходах, каких много, занятая в массовке или в кордебалете. В лучшем случае ей удавалось заполучить выход с репликой. Приходилось экономить минуты, бегая по всему городу, чтобы успеть к своей сцене. Но устали она не знала и во всем руководствовалась чувством дисциплины и долга. К тому же имелась и побочная заинтересованность: девушка начала собирать собственную костюмерную из арсенала платьев и аксессуаров, «заимствованных» в театрах.

Марлен всегда придавала крайне важное значение своему внешнему виду, стремилась выделиться во что бы то ни стало. Смелости и находчивости ей было не занимать. В голодном, нищем Берлине она поражала всех изысканными чулками и великолепными туфлями на высоченных каблуках, приобрести которые людям ее достатка было не так-то просто. Уже в семь утра она могла появиться на репетиции в боа, с моноклем и в мехах рыжей лисицы — ее стремление диктовать моду не считалось с ситуацией и материальными



издержками. Для заработка Лена снимается в рекламе чулок и нижнего белья, ищет пути заявить о себе на сцене, пробиться в круг новых хозяев жизни.

Она знакомится со звездой кабаре Клер Вальдофф — знаменитой лесбиянкой, не делавшей секрета из своей сексуальной ориентации. Клер берет Лену под свое крыло, обучает ее держаться на сцене с наглой самоуверенностью, выгодно использовать возможности ее своеобразного, но незначительного голоса. В шоу Тильшера обе дамы, одетые в одинаковые черные туалеты и украшенные букетиками фиалок (символом лесбийской любви), с большим успехом исполнили двусмысленный дуэт. Из-за отношений с Клер о Лене Лош начинают говорить. Она открыто вращается в бисексуальных кругах Берлина, на публике появляется во фраке и с моноклем. Лишь она — единственная из женщин Берлина — получает доступ в клуб гомосексуалистов. Довольно яркое начало для вышедшей из веймарского пансиона девицы.

В начале 20-х годов Берлин охватило увлечение кино. Фильмы жадно смотрели от мала до велика, их производство не требовало большого времени и затрат. Стало ясно, что на синема — так полюбившемся массам «товаре» — можно сделать хороший бизнес. Лена Лош успела мелькнуть в нескольких эпизодических ролях немых кинолент, не вдохновившись чарами нового искусства и не рассчитывая выдвинуться на первый план. «Я выглядела на экране, как волосатая картофелина!» — скажет она позже. Киносреда казалась Лене довольно вульгарной в сравнении с театральной, а запечатление движущихся картин на целлулоидную пленку — скорее техническим трюком, чем искусством. Но в кино можно было подработать, а она всегда ценила финансовую независимость.

Отправляясь на очередную кинопробу для маленькой роли девицы полусвета, Магдалена надела к откровенному платью ядовито-зеленые перчатки, в тон им туфли на высоких каблуках и прихватила боа из своих запасов. Претендентки на роль стояли в ряд, ожидая, на ком из них остановится внимание Рудольфа Зибера — помощника режиссера, молодого и элегантного, как английский лорд. Внимательный глаз Зибера, знатока хороших вещей и раритетов, остановился на фрейляйн Лош. Двадцатисемилетний холостяк, отпрыск буржуазной австрийской семьи, выбрал блондинку в смехотворных перчатках не только для эпизода в фильме — он предназначил ей роль жены.

### 3

— Ты была такая нелепая в этом маскараде! Как ребенок, который играет во взрослого. Умненькая девочка решила изобразить падшее создание, напаялив все это барахло! Я умирал со смеху! — Он и в самом деле смеялся, сидя напротив нее в маленьком дорогом ресторане Вестена через неделю после знакомства.

— Смеялся? Ну уж нет! Ты пронизывал меня страстным взглядом! Только взглянул, и я обомлела! Такой красавец и одет как лорд в своем загородном имении. Я сразу поняла, что влюбилась! Что передо мной именно тот, с кем можно выйти под листопад золотой осени! — пропела Марлен, оценив изыски стола, столь необычные в эти голодные годы.

— А ты заметила, что мы похожи, как брат и сестра: оба светловолосые, голубоглазые? В народе говорят, что такие пары бывают необычайно счастливы.

17 мая 1923 года Лена стала фрау Зибер. Ей был двадцать один год. Рудольфу — двадцать семь. Однажды и навсегда он взял на себя миссию любить и оберегать это удивительное создание, ввергшее его в нескончаемый водоворот радости и муки.

Рудольф сумел выполнить обещание — его жена ни в чем не нуждалась. Даже в суровые годы инфляции он небрежно дарил любимой норковую шубу, которую та столь же небрежно носила, сбрасывая на пол или первый попавшийся стул. В их доме не переводились не виданные на столах обычных берлинцев деликатесы, Лена получала в подарок дорогие украшения, имела прислугу. Они часто выезжали в шикарные рестораны и богемные клубы. Зиберу было приятно щегольнуть экстравагантной супругой и знанием кулинарного этикета. Как ему удавалось оплачивать все это, оставалось тайной.

Йозефина нашла для молодых престижный особняк на фешенебельной Кайзераллее, в нескольких шагах от собственного дома. Ведь дочь была беременна и ей подобало иметь собственный дом. Лена наслаждалась ожиданием ребенка, ничуть не жалея, что положение молодой матери вырывает ее из богемного круга.

«Все! С сегодняшнего дня никакого секса. Это вредно для малыша!» — заявила она мужу, едва узнав о своей беременности. Больше к любовным играм супруги не возвращались на протяжении всего последующего пятидесятилетнего брака.

13 декабря у Зиберов родилась дочь Мария. С этого момента супруги стали называть друг друга Папи и Мути (Папочка и Мамочка), а Лена с присущими ей основательностью и дисциплиной занялась ребенком. Все, что касалось девочки, было безукоризненно — вещи, питание, гигиена. Кормившая ребенка грудью до девяти месяцев, Лена страшно огорчилась, когда молоко кончилось. Казалось, она так и провела бы все оставшиеся годы у кровати малышки с пеленками и кормлением, навсегда забыв про свои так и не расцветшие в полную силу актерские амбиции.

Тем временем слава Голливудской кинофабрики грез распространилась на весь мир. Студия МГМ (Метро Голдвин Майер) заключила контракт со шведкой Гретой Гарбо, «Золотая лихорадка» Чарли Чаплина имела сумасшедший успех, Россия обмирала над мелодрамами с участием Веры Холодной, а в доме на Кайзер-аллее молодая фрау Зибер стряпала, стирала, накрывала столы для гостей (при наличии прислуги), играла со своей ненаглядной крохой под звучащий из патефона голос модного певца по имени Шепчущий Джек Смит.

«Все прошло! Ребенок — суть моей жизни, я ничто без нее ни как женщина, ни как личность», — с восторгом записала она в дневнике.

Но энергия молодой женщины требовала выхода. Заботы по дому и регулярные набеги с Зибером на богемные клубы и рестораны оставляли ее силы нерастраченными, а фантазию — голодной. Лена начала снова подрабатывать выходами на сцену и съемками в незначительных эпизодах. Она не замахивалась на актерскую карьеру, лишь шла навстречу властному зову фортуны.

#### 4

Двадцатидевятилетняя блондинка, ростом 157 см, с мягкими жидковатыми светлыми волосами и довольно небрежно вылепленным лицом скорее простушки, нежели утонченной аристократки, не очень-то рассчитывала на свой талант и внешность, больше надеялась на выдержку, дисциплину, сообразительность, избыток деятельных сил и, разумеется, на уже проявившуюся манкую эротичность.

Нежданно-негаданно молодой женщине выпал шанс, который выпадает не чаще чем многомиллионный джекпот. Такое редкое везение принято возводить в ранг чуда. И оно случилось: судьба свела Магдалену Зибер с Джозефом фон Штернбергом, ставшим ее Пигмалионом. Позже историки кино гадали: стал бы фон Штернберг знаменитым режиссером без Марлен? Взойшла бы звезда Марлен, не попади она в руки Штернберга? Мнения существуют разные. Ясно одно — ни один из них не достиг бы таких высот без другого. Что с печальной очевидностью обнаружилось с момента их разрыва. Никогда более в течение долгих десятилетий, работая с разными режиссерами и партнерами, Марлен не удавалось достичь планки, установленной фон Штернбергом, да и он скрылся за горизонтом популярности после разлуки с ней.

Почему именно она — довольно заурядная берлинская буржуазка — стала фетишем миллионов людей на разных континентах? Чей перст указал на ничем не выдающуюся актрису, по какому праву объявил фортуне: «Она!» Ведь рядом, в том же Берлине, не говоря о масштабах Европы и Америки, существовало множество молодых женщин — более красивых, одаренных, бредивших актерством, мечтавших о звездности. Марлен не бредила и не мечтала. Она даже не считала себя способной и достаточно фотогеничной для экрана. Не

обладала связями и рекомендациями, помогающими в продвижении. Но ведущий режиссер голливудской студии «Парамаунт» Джозеф фон Штернберг, измученный поисками актрисы на главную роль в своем новом фильме, подобно сказочному принцу, околдованному образом неизвестной принцессы, увидел свой идеал и возлюбил его с такой мужской и творческой страстностью, что пожар гениальности вспыхнул с сокрушающей силой.

Правда, судьбе пришлось соединить в цепочку множество случайностей, чтобы осуществить этот союз.

Уроженец Австро-Венгрии Джозеф фон Штернберг вместе с родителями эмигрировал в США, где стал работать на киностудии в качестве монтажера и сценариста. После режиссерского дебюта студия «Парамаунт» заключила с ним долгосрочный контракт на несколько работ. Задумав фильм по книге Генриха Манна «Профессор Унрат», фон Штернберг сделал ставку на популярного немецкого актера Эмиля Яннингса в главной роли. Оставалось найти ее — певичку-соблазнительницу, сбивающую с пути высококонраваственного преподавателя гимназии. Съемки должны были проходить на берлинской студии УФА.

Случайно пролистывая каталог немецких актрис, фон Штернберг увидел фрау Зибер и отметил ее. Первая подсказка фортуны. Однако, когда режиссер попросил ассистента вызвать девушку на студию, тот иронично ухмыльнулся:

— Зибер?! Да это никакая не актриса! Попка неплохая, но ведь вам нужно лицо, не так ли?

И фон Штернберг забыл бы о ней, если бы на следующий день случайно не увидел на сцене театра в спектакле, где играли снимавшиеся в фильме актеры. Магдалена Зибер произнесла лишь одну реплику, «но нутром я чувствовал, что она может предложить то, чего я даже не искал. Инстинкт подсказывал, что ядро фильма найдено. Без магического обаяния этой женщины было бы невозможно понять причину крушения высококонраваственного профессора», — вспоминает Штернберг.

Выходит, магическое обаяние уже было? Почему же его заметил лишь фон Штернберг, в то время как другие обращали внимание лишь на попку? Вторая подсказка фортуны.

Режиссер попросил вызвать фрау Зибер на собеседование.

## 5

Фрау Зибер решила надеть на пробу классический наряд портовой шлюхи. Муж, отличавшийся вкусом и тонким пониманием ситуации (в какой бы тупик она ни заводила его), настаивал на туалете леди и советовал не суетиться, не заигрывать, не показывать свою заинтересованность режиссеру.

— Ты должна сразу выделиться из толпы претенденток, пускающих в ход свои чары, — наставлял Рудольф, глядя на жену сквозь клубы сизого дыма любимой трубки. Он не терпел суетливости и подобострастия и полагал, что австрийский аристократ фон Штернберг не может клюнуть на столь грубую блесну.

— Полагаешь, мне надо выглядеть как выпускнице пансиона благородных девиц? — язвительно спросила Лена. — Похоже, Папи, ты скептически относишься к моей попытке понравиться режиссеру.

— Напротив, возлагаю на нее надежды. Фон Штернберг — весьма солидное имя. Ты должна попробовать получить роль и сделать это со всей подобающей тебе основательностью.

— Интересно, откуда взялось «фон», если он еврей? — Лена ходила из угла в угол, то и дело сталкиваясь с прислугой, убиравшей посуду после ужина.

Грызла ореховое печенье и злилась: пока что ее взаимоотношения с кино не складывались и предстоящая попытка казалась пустой тратой времени.

— В любом случае это человек с хорошим вкусом и, кажется, с перспективами. Так что постарайся продемонстрировать свои манеры. Пожалуй, светлые лайковые перчатки просто

необходимы, — спокойно размышлял Зибер, всю жизнь умевший одеваться солидно и элегантно.

— С ума сошел, мой дорогой! Эта их Пупси-Мупси или Лола-Лола — не знаю, как он ее обзовет — дешевая девка! При чем же здесь элегантный костюм и перчатки! Да — стоит еще надуться «Коти», а на плечи набросить... — Она задумалась, сочиняя уже всерьез облачение для своего выхода. — Во всяком случае, Папиляйн, таких, как я, там больше не будет.

На первую встречу с Джозефом фон Штернбергом Магдалена явилась в своем лучшем деловом костюме, белых лайковых перчатках, позволив лишь сдержанное украшение — две небрежно наброшенные на плечи чернобурки. В очереди раздетых «шлюх» перед кабинетом режиссера она и в самом деле смотрелась белой вороной, все думали, что заносчивая дама наверняка что-то перепутала, и тихо подхихикивали за ее спиной.

Голливудская знаменитость оказалась довольно неказистой: мелковата, несколько косит шею. Густые висячие усы завершали впечатление печальной сосредоточенности. Но зато тросточка, гамаша, непередаваемая светскость австрийского аристократа и удивительные глаза! Умные и словно боящиеся излучаемого ими света. Вспыхнули, встретив взгляд вошедшей дамы, и тут же опустили к лежащим на письменном столе бумагам.

— Присаживайтесь, фрау Зибер. — Голос Штернберга звучал глухо и вкрадчиво: шелк и бархат. — Я бы хотел пригласить вас на пробу для роли Лолы-Лолы.

— Но ведь я совершенно нефотогенична. У меня были опыты в кино. Все неудачные. Нос выглядит картошкой, лицо — как блин. К тому же я слишком толстовата.

— Но при том — настоящая леди. — Он почтительно улыбнулся.

— Речь, насколько я поняла, идет о певичке из дешевого кабачка.

— Сценарий написан по книге Генриха Мана. Профессор Иммануил Рат — этакий высоконравственный сухарь, служит учителем в средней школе. Однажды он застаёт учеников за разглядыванием соблазнительных фото. Оказывается, парни тайком посещают портовый кабачок, где поет некая Лола-Лола. Возмущенный профессор отправляется в притон и... страсть охватывает его. Вы понимаете, какой должна быть эта портовая девчонка из прокуренного кабака?

— Она должна быть сногшибательной, — мрачно заверила фрау Зибер. — Разве вы можете представить меня в этой роли? — Небрежным движением затянутой в белую лайку руки Лена перебросила через плечо чернобурку.

— Могу, — невысокий мужчина встал из-за стола, прошелся по комнате и, приблизившись к сидевшей женщине, посмотрел ей в глаза. — Я, знаете ли, вообще могу очень многое.

...Существует множество версий этой встречи, но то, что Лена хулила свою внешность, — факт. Что это — чрезмерная честность? Провокация? Вызов? Похоже, она не думала ввязываться в серьезную игру с голливудским режиссером. Она и впрямь считала себя нефотогеничной и просто не хотела лишних разочарований.

И в самом деле, ее удача зависла на волоске. Разочарованный первой встречей, фон Штернберг все же посмотрел фильмы с участием Магдалены. Снятая с прямолинейной простотой, молодая женщина выглядела на пленке крайне непривлекательно, и фон Штернберг подумал, что если бы не увидел ее накануне на сцене, то, без всяких сомнений, отказался бы от проб.

Но кинопроба была назначена, и Магдалена вызвана в числе иных претенденток на роль.

Перед тем как она предстала перед кинокамерой, Лену переодели в пестрое платье, похожее скорее на отрепья бродяжки, чем на зазывный костюм шлюхи.

— Дайте что-нибудь, мне надо это подколоть. — Фон Штернберг протянул руку костюмерше и, вооружившись булавками, начал переделывать платье, легонько касаясь тела

женщины. Потом он взялся за расческу, пытаясь что-то сделать с волнами старательной укладки.

— Мои волосы причесать совершенно невозможно. Они всегда выглядят так, словно их вылизала кошка! — возражала Магдалена, изнемогая от сознания собственного несовершенства.

Подкорректировав облик претендентки на роль, режиссер, однако, остался доволен.

— Могли бы вы что-нибудь спеть на английском языке? — поинтересовался он.

— Пожалуй. Нечто невообразимо вульгарное.

«Сливки в моем кофе» — привязчивый шлягер. Пойдет?

Под сбивчивый аккомпанемент Лена исполнила популярную английскую песенку.

— Спойте-ка что-нибудь еще и уже попробуйте показать характер Лолы, — попросил фон Штернберг, ощущая азарт золотоискателя.

Магдалена оглядела комнату, подошла к роялю, бесцеремонно села на крышку, вздернула юбку и спела немецкую разбитную песню, которая позже для фильма будет переведена на английский под названием «Я с головы до пят сотворена для любви». Ее голос хрипел и переходил на чувственный шепот. Вокалом это можно было бы назвать с большой натяжкой.

Все, кроме фон Штернберга, сочли пробу провалом. Но его решимость взять некую фрау Зибер на главную роль в новом фильме была непоколебима.

Он нашел свою героиню, способную заворочить миллионы.

Что же увидел он в этой молодой женщине? Ее голова напоминала о деревянных марионетках в кукольных вертепах: чистое крупное лицо с большим широким и выпуклым лбом. Широко поставленные глаза, тяжелые веки, столь редко встречающиеся у северянок, золотистый тон мягких волос. Почти полное отсутствие мимики и загадочная отстраненность, словно у существа с иной планеты. Вряд ли ее можно было назвать хорошенькой, но то, что из нее можно было «вылепить» светом и тенями волшебную красавицу, фон Штернберг ощутил всем своим нутром. От женщины исходил некий завораживающий магнетизм, мощно ударивший по двум самым болезненным его точкам — чувственности и профессиональному интересу.

Как мужчина и как художник фон Штернберг почувствовал, что стоит на пороге великого провала или грандиозного успеха. Он сделал выбор, отказав без промедления более ярким, знаменитым и нравившимся студии претенденткам.

Ему удалось заставить руководство УФА подписать с фрау Зибер контракт на исполнение роли Лу-лу в «Голубом ангеле» — первом в Германии полнометражном звуковом фильме. Причем фон Штернберг решил снимать фильм сразу на английском языке, не смущаясь акцентом актрисы — кого удивит, что портовая девка говорит не совсем правильно? А уж как она поет... Несомненно, в этой фрау есть нечто колдовское, возможно, некое будоражащее чувственность ощущение бисексуальности, бьющее ниже пояса. Да стоит ли пытаться объяснить желание?

## 6

...Шел дождь, в свете тусклых фонарей все казалось холодным и липким. Лена порадовалась, что не надела в этот день меха, и старательно перешагнула лужу, блестящую под витриной булочной. У выхода из переулка к набережной Шпрее ее нагнал фон Штернберг:

— Позвольте проводить вас, фрау Зибер? — Не дожидаясь ответа, он остановил такси. Распахнув дверцу машины, сказал своей спутнице, как само собой разумеющееся: — Заедем в мой отель.

В полутьме машины молчали, глядя сквозь дождевые потоки — каждый в свое окно. Так же молча поднялись в номер фон Штернберга. Он запер за собой дверь, Лена, сбросив лишь плащ, легла на аккуратно застеленную постель и задрала юбку. Чтото в этой сцене ей

сильно напоминало эпизод со скрипачом. Торопливо освободившись от пальто, Джозеф стоял рядом. Лена расстегнула резинки чулочных подвязок и, помогая себе движением бедер, спустила трусики, отбросила их носком туфли. Щелкнув выключателем настольной лампы, Джо осветил комнату. Она увидела его безумные, жадные глаза и мелкую дрожь, сотрясавшую худое тело. Мужчина едва сдерживал возбуждение. Протянув руку, Лена погасила свет.

— Иди ко мне, Джо...

Он тут же упал на нее, оказавшись тяжелым и крепким. Когда все завершилось, он закурил две сигареты — для себя и для нее.

— Прости меня. Я похож на похотливого орангутанга. Не мог больше терпеть. Я одержим ЛолойЛолой очень давно, с той минуты, как задумал фильм. Я хотел тебя с того мгновения, как только увидел. Прости. — Нагнувшись, он покрыл поцелуями ее руки.

— А знаешь, Джо, ведь я тоже сразу подумала об этом. Ну... поняла, что нужна тебе. — Лена взяла протянутую им сигарету, затянулась, посмотрела на голубой дым, переливавшийся цветными волнами от света рекламы за окном. — И знаешь что... — Приподнявшись на локтях, она заглянула в его глаза: — Зови меня Марлен. Марлен Дитрих. Это мое настоящее имя.

Марлен со свойственным ей энтузиазмом взялась за подборку гардероба для роли Лолы-Лолы (потом это станет ее главной задачей в создании кинообраза). Грязно-белый атласный цилиндр из гардероба, отыгранного ревью, панталоны с рюшками, заимствованные у знакомого трансвестита, знаменитый пояс с подвязками, затертые атласные манжеты, белый мятый воротник — визитка ЛолыЛолы и «Голубого ангела».

Встречи с фон Штернбергом стали постоянными, можно сказать, они почти не расставались — ни на съемочной площадке, ни потом, в гостиничном номере Джозефа, который Марлен покидала далеко за полночь. Служебный роман слился с экранной жизнью.

— Любовь моя, — Марлен нравилось обсуждать творческие проблемы в процессе постельного свидания, — когда ты наконец позволил мне посмотреть отснятый материал, я поняла — идея фантастическая! Противные толстухи, которых ты нагнал на площадку, чтобы изображать посетительниц кабачка — отличный маневр! На фоне таких монстров и рядом с тушей Яннинга я казалась бабочкой!

— Теперь-то моя Лола поняла: она само искушение. Не сомневайся, публика будет выть от восторга.

— А ты — бесстыдник! Сегодня, когда я в цилиндре и кружевных панталончиках пела, оседлав стул, твоя камера уставилась мне прямо между ног!

— Камера? Что она понимает, бедняжка. — Джо вдумчиво обвел узкой ладонью линию бедра Марлен. — Камера — это я!

...- Знаешь, Папиляйн, Джо все время необходимо делать со мной это, — посетовала она мужу. — У евреев такой темперамент! Не могу же я отказать — он такой милый и совершенно уверен, что фильм превратит меня в звезду. Так и будет! Я видела отснятые материалы и поняла: Штернберг гений. Эта Лола-Лола — она получилась совсем настоящая. Живая!

Марлен всегда будет обсуждать с мужем отношения с поклонниками и прислушиваться к его советам даже в самых интимных вопросах. «Мистер Дитрих», как позже прозвали мужа знаменитости, оказался чрезвычайно полезным и надежным компаньоном на ее щедром событиями жизненном пути.

Она была в восторге от фон Штернберга, умевшего деликатно и мягко управлять процессом на съемочной площадке. Она умела угадывать малейшее желание режиссера. А он — делать ее неотразимой. Хитрости света, операторские приемы и портновские ухищрения были знакомы фон Штернбергу лучше привлеченных для этого профессионалов. Создавалось впечатление, что он изначально знал все до мелочей — на какую ресницу своей

героини и с какого софита должен падать свет, какими тенями «заретушировать» круглые щеки, как развернуть мизансцену перед камерой. И произошло чудо: исчезла круглолицая простушка и в полную мощь с экрана хлынул соблазн — магнетическая чувственность потрясающей женщины. Фон Штернберг пребывал в состоянии творческой эйфории — он делал первый звуковой фильм, он делал фильм с женщиной, воспаляющей кровь даже с далекого экрана, и хотел, чтобы воссияла новая звезда — Марлен Дитрих.

Сочиненное тринадцатилетней Магдаленой имя наконец пригодилось, «Голубой ангел» мгновенно сделал его знаменитым и хранил статус мегазвезды долго после того, как след фон Штернберга исчез с пути Марлен. Адольф Гитлер, по мнению Дитрих, соблазненный подвязками и панталонами Лолы-Лолы, ухарскими замашками шлюхи и белым цилиндром, намекавшим на нечто недозволенно пряное, бисексуальное, сохранил копию «Голубого ангела» лично для себя, когда все фильмы с Марлен, принявшей американское гражданство, в фашистской Германии будут уничтожены.

Дитрих получила за фильм пять тысяч долларов, что по тем временам было очень круто.

## 7

В процессе съемок фон Штернберг стал другом дома Зиберов, уже приютивших милую женщину Тамару Матул — балерину из труппы русского балета. В таком составе «семья» просуществует довольно долго. Мария, дочь Марлен, многие годы будет поддерживать добрую дружбу и с интеллигентным, тактичным Джозефом, и с милой Тами. Рудольф Зибер до конца сохранит статус преданного супруга Дитрих, лучшего помощника и советчика. За исключением детали — подлинной «физической» его женой станет безропотная, жертвенная Тами. Плюс множество красивых увлечений, которые он, как фактический холостяк и человек весьма состоятельный, мог себе позволить.

А берлинская студия УФА промахнулась. Не распознав потенциал «Голубого ангела», немцы не продлили контракт с Дитрих. Тогда Штернберг предложил ей подписать договор с «Парамаунтом» на два фильма, что означало переезд в Америку. На это было трудно решиться. Рудольф Зибер, наделенный здравомыслием и умением найти выход в самых щепетильных ситуациях, снова дал супруге дельный совет: стоит осмотреться, попробовать пожить там, а потом думать о переезде. Вначале в Голливуд на разведку должна была отправиться Марлен.

Вечером 31 марта состоялась гала-премьера «Голубого ангела» в кинотеатре «Глория Палас». Первый немецкий звуковой фильм, да еще и музыкальный, вызывал ажиотаж. Зрители ждали встречи с исполнителями главных ролей. Сразу же после окончания торжества Марлен предстояло отправиться на поезде в Бремерхафен, там пересесть на трансатлантический лайнер «Бремен», отправляющийся в Нью-Йорк, а затем проследовать в Лос-Анджелес, где ее уже ждал фон Штернберг.

Окутанная белым шифоном, в белой накидке из нежного меха, она стояла у кровати дочери, который раз рассматривая столбик ртути на термометре. В ушах сверкали бриллиантовые подвески, пахло так прекрасно, словно распахнулись двери в рай. Температурившая шестилетняя Мария не сводила с матери восторженных глаз. Она всегда знала, что ее мать особенная, но теперь поняла точно: ее мать — королева!

— Господи, как некстати мой отъезд! Не отходи от нее, Бэки! — говорила Марлен горничной, поправляя цеплявшиеся за шифон перстни. — Ах, если бы пароход не отправлялся сегодня ночью, я вообще не пошла бы на эту глупейшую церемонию.

— Мути, пора ехать. — В детскую вошел Рудольф, чрезвычайно элегантный в своем щегольском фраке. — Невозможно, чтобы актеры вышли на сцену без тебя. Публика не успокоится, пока не увидит героиню.

Марлен склонилась над кроватью, обдав девочку запахом самых восхитительных в мире духов:

— Не забывай меня, радость моя!

Три часа спустя она была уже звездой. Имя Марлен впервые гремело под гул восторга и преклонения.

## 8

Вместе с костюмершей УФА Рези, ставшей ее преданной камеристкой на долгие годы, Марлен пересекла Атлантику и благополучно (если не считать выпавшего за борт зубного протеза Рези) прибыла Нью-Йорка, где ее должен был встретить представитель студии. Оглядев стоящую у сходней даму, менеджер «Парамаунта» издал губами малоприличный звук, означающий в данном случае разочарование.

— Рад познакомиться, миссис Дитрих. Но... похоже, вы собираетесь в таком виде сойти на берег?

— Именно. Разве что-то не так? — Марлен поправила высокие плечи фланелевого пиджака. Она предпочла надеть серый деловой костюм, как и полагается путешественнице из Европы.

— Надеюсь, у вас имеется шуба? Ну, какая-нибудь норка? Уже лучше. Так... Наденете черное облегающее платье и шубу нараспашку.

— Но... сегодня жаркий солнечный день. — Марлен не стала добавлять, сколь вульгарным считает предложенный наряд.

— Есть события поважнее, чем хорошая погода. Сегодня из Германии прибыла новая звезда «Парамаунта». На причале собрались репортеры, дабы запечатлеть этот исторический момент. Завтра вся Америка будет рассматривать ваши снимки. Что она должна увидеть? В первую очередь, эффектность и роскошь. И во вторую, и в третью — тоже. Эффектность и роскошь! Думаю, вам следует небрежно присесть на свои чемоданы, чтобы выгодно показать ноги, и пошире улыбаться. Ну, вы сами знаете все эти штучки.

«Ты всего лишь подчиняешься и — выигрываешь! Тактика победителя», — убеждала себя Марлен, сидя на пристани в распахнутой норковой шубе под жарким солнцем и прицелом десятка камер. Она чрезвычайно ценила вбитую ей с детства дисциплину и приписывала умению подчиняться приказам многие выигрышные повороты в своей судьбе.

Она умела продемонстрировать ноги, если это так уж необходимо вульгарным янки. Вот улыбки до ушей они от нее не дождутся. В конце-то концов здесь все только и думают о том, как бы выгодней себя продать, а лишь Марлен знает, чего стоит неулыбчивая томность ее лица. Придется многому научить этих идиотов.

«Здесь все помешались на капиталах, и даже церкви похожи на торговые ларьки», — напишет она мужу. Наиболее частой характеристикой янки станет для Марлен слово «идиот», а для определения неприятного ей человеческого типа достаточно было пренебрежительного замечания: «абсолютный американец!».

В Лос-Анджелесе ее встречал Джозеф на новеньком, сияющем никелем зеленом «роллс-ройсе» — подарке миссис Дитрих от «Парамаунта».

— Прошу, ваше высочество, королевство ждет вас! — Усадив Марлен, Джозеф направился к голливудским холмам. В яркой южной зелени виднелись крыши особняков, то тут, то там зеркалом вспыхивала в лучах солнца гладь бассейна.

— Да тут целый курорт!

— Фабрика, дорогая моя. Фабрика грез.

— И тут не хватало только Дитрих! — Марлен высунулась в окно, оглядываясь вокруг.

Два улыбающихся японца, кивая головами, как фарфоровые статуэтки, распахнули ворота.

— Слушай, Джо, они, кажется, настоящие!

— Это твои садовники, любовь моя. А это, — он въехал в распахнутые ворота, — это твой дом.



Вилла в Беверли-Хиллз, арендованная фон Штернбергом для Марлен, находилась недалеко от студии. Джозеф неторопливо вел гостью по залитому солнцем саду к дому, похожему на цветочную корзину из ало-лиловых гардений, и ждал восторгов.

— Ну как? — Он торжественно распахнул дверь в прохладные апартаменты. — Комфорт, сверкающая чистота, море цветов. Немного лучше, чем в моем берлинском отеле, верно? Прием назначен на завтра. Полный бомонд и свора журналистов, чтобы запечатлеть трогательный момент и узнать твое мнение.

— Ты чудо, Джо. — Поцеловав его в щеку, Марлен легким движением ладони смахнула отпечаток помады. — Все, действительно, вполне симпатично. Приличный дом и «роллс» с водилой — так шикарно. Только куда ездить? До студии идти пять минут. — Марлен присела в предложенное Джозефом плетеное кресло в тени кустов пышно цветущих олеандров.

— Тебе не придется ходить здесь, милая. У звезды «Парамаунта» особый статус. Роскошь — в параграфе первом. В ней надо купаться. В последующих пунктах — то же самое. Не волнуйся, любимая, я буду рядом. — Подшучивая, Джозеф всматривался в ее лицо, не выражавшее ничего — ни радости встречи, ни приятного удивления по поводу калифорнийского рая. И эта отрешенность казалась ему более интригующей и желанной, чем благодарный щебет любой другой женщины, способной зайтись восторгом от одного лишь новенького «роллс-ройса».

— А сейчас ты научишься подписывать чеки. — Джо, выглядевший по-новому в мягком белом костюме, положил на стеклянную столешницу садового столика чек на десять тысяч долларов — по тем временам сумму огромную — и чековую книжку. — Это презент от студии — на первые расходы. Просто будешь вписывать вот сюда сумму своего расхода, если что-то надумаешь купить, а здесь оставлять свой автограф. — «Паркером» с золотым пером он указал на графы в чеке.

— И все? — Марлен посмотрела на свет невзрачную бумажку, скрепленную в блокнотик со стопкой точно таких же.

— Все. А это Луиза и Мона. — Фон Штернберг представил новоявленной хозяйке появившихся женщин в кружевных передниках и наколках. — Они будут заниматься кухней и домом. Начнем с завтрашнего дня. А пока я заказал для нашего первого ланча кое-что из студийного ресторана.

— Вначале я приму душ и переоденусь. Пусть кто-то принесет мои чемоданы.

Через пятнадцать минут она появилась в дверях гостиной свежей, благоуханной, в легком платье из светлого шелка и с перламутровой заколкой в волосах, приподнятых к затылку.

— Ба! Да здесь стол на двенадцать персон! — Марлен остановилась у парадно накрытого стола. — Мы ждем гостей?

— Прием завтра, но тебе ни о чем не придется беспокоиться. Сад декорирует студия, столы накроют повара из ресторана. О деталях туалета звезды позабочусь я.

— Доверяюсь и ни о чем не спрашиваю. О, свиные отбивные с хрустящим картофелем. Это по мне. — Усевшись, Марлен сама наполнила свою тарелку и принялась за еду. — Пока я буду жевать, объясни, Джо, чем ты очаровал своих шефов в «Парамаунте»? Не нашим же «Голубым ангелом»? Думаю, здесь им надо что-то другое... — Она задумчиво посмотрела на буйство ухоженного цветника за широко распахнутыми стеклянными дверями. — Американцы спокойно пересидели войну среди своих клумб и эдемских садиков. Большие дети, ждущие красивой сказки.

— С вечным цветением, солнцем и океаном? — Джо смаковал темное вино, не спуская глаз с Марлен. Он все еще не мог наглядеться, жадничая, придумывая с лету все новые и новые проекты для той, которую заполучил на долгий срок. И он уже знал, что должен предложить ей.

— Ненавижу яркое солнце — так и липнет этот противный загар, как к деревенской доярке. И купаньем в океане не интересуюсь. Страшно подумать даже, что где-то под водой копошатся всякие противные каракатицы. — Марлен хрустнула маринованным огурчиком. — Солнца у них тут и так слишком много. Думаю, американцам нужна волшебная сказка с загадочной и дразнящей Повелительницей грез — такой соблазнительной оторвой.

— Мечтой, в которую должен влюбиться каждый — и мужчина, и женщина... — Штернберг, забывший о еде, послал Марлен полный обожания взгляд. — Вот в чем, собственно, дело. Наш «Парамаунт» и МГМ — главные конкуренты. Так вот, у МГМ с двадцать пятого года появилась Грета Гарбо — чудо из Швейцарии — загадка, акцент, утонченность, манкость. Нашим нужна звезда не хуже.

— Я? — Марлен ткнула себя пальцем в грудь. — С моим картофельным носом? О нет, Джо! Нужны мы оба. Только ты умеешь превращать меня в фею.

— Фея уже обрела собственную жизнь. — Джозеф развернул газету. — Смотри, что пишет Каракауэр в берлинской газете: «Лола-Лола Дитрих — новое воплощение секса. Мелкобуржуазная берлинская проститутка с провокационными ногами и легкими манерами являет собой бесстрашие, которое побуждает доискиваться до секрета ее бессердечного эротизма и холодного высокомерия». Да, ты заинтриговала этого ехидного ворчуна. Как точно заметил! Бесстрашие, Марлен, подлинная тайна эротизма!

— Мы сделали это! Я люблю тебя, Джо...

— Сокровище мое, все еще впереди. Я всему научу тебя, ведь ты чрезвычайно способная девочка. Не хочешь посмотреть спальню? На окнах тяжелые шторы, как ты любишь. И букетик полевых ромашек — от меня. Пойдем, я расскажу тебе о наших ближайших планах.

Первый прием прибывшей актрисы в своем американском доме — теплая встреча с новыми коллегами — ритуал и большая работа для приглашенных журналистов. Столики с длинными скатертями и рекламной сервировкой в саду, светящийся бассейн, звезды и руководство «Парамаунта» в вечернем облачении. Соревнование туалетов и драгоценностей. Красавицы всех мастей, знаменитые имена. Марлен держится с непринужденностью истинной леди, обнаруживая в беседах острый ум и хороший английский. Ее узкое черное бархатное платье, эффектно подчеркивающее фигуру, выделяется в клумбе пестрых и довольно вычурных нарядов. Очень дорогой и стильный бриллиантовый браслет, предусмотрительно взятый фон Штернбергом напрокат, — единственное украшение Марлен, кроме ее дивных, тицианового оттенка волос. Все это будет подробно описано журналистами светской хроники, «выстреливающими» блицами то тут, то там в коловращении праздничной толпы небожителей Голливуда.

Когда над парком взвились фейерверки, Джозеф тронул Марлен за локоть:

— Посмотри вверх, девочка моя. Все звезды в небе и все сверкание салюта — для тебя. Так будет всегда, я тебе обещаю.

— Джо, чтобы привыкнуть к этому, мне надо будет прожить очень длинную жизнь. — Марлен мечтательно опустила длинные накладные ресницы.

— Она будет — долгая, праздничная жизнь, сокровище мое. — Джозеф поднес к губам руку Марлен.

— Пророчество режиссера! Великолепный кадр, — щелкнув камерой, журналист светской хроники исчез в зарослях мексиканского тростника.

Руководство «Парамаунта» пришло в ужас, рассматривая прибывшую звезду.

«Вы только посмотрите на ее толстые бедра! А скулы простолоудинки? А этот нос, смахивающий на гусиную жопку?» — говорили их взгляды. Увы, все было правдой. Ни

обворожительной детскости Мэри Пикфорд, ни зрелой женственности Сары Бернар, ни безупречной правильности черт Греты Гарбо...

— Господа, это моя актриса, и то, что она принесет студии миллионные доходы, — я гарантирую. — Фон Штернберг взял Марлен под руку. — Чтобы приблизиться к вашему идеалу, нам понадобятся сутки.

Через день перед софитами в павильоне, где предстояло сделать рекламные снимки, предстала иная женщина — в ореоле чужестранной тайны, европейской утонченности, гипнотического акцента, с аристократическим овалом лица и томными глазами. Непроницаемый лик королевы без тени заигрывания или угодливости. Высокие брови, точно и смело выписанные дугой на выпуклом лбе, подчеркнули томную тяжесть век. Благородная впалость щек, оттеняющая скулы, яркий чувственный рот. Бесспорно, здесь отлично поработали стилисты. Но кое-что из приемов обработки лица Дитрих осталось на уровне слухов.

Историю с выдернутыми коренными зубами подтверждали несколько стоматологов, и каждый клятвенно заверял, что удалял зубы Марлен именно он. Сама же она эту операцию отрицает.

Фон Штернберг разработал специальную технику освещения ее лица, что подчеркивало высокие скулы и скрывало несколько широкий овал лица. Он стремился акцентировать в облике Марлен декадентную утонченность и ту изюминку, которую он подметил сразу, — ее андрогинность — двуполоую манкость. «У Марлен есть секс, но нет пола», — напишет о Дитрих позже критик Кеннет Тайнен. Но с самого начала, провозглашенного «Голубым ангелом», нота бисексуальности прозвучала отчетливо. Именно она придавала образу актрисы неожиданную взрывную и опасную пикантность, умело акцентированную фон Штернбергом. Фон Штернберг обладал чутьем на запросы толпы, он понимал, что идол миллионов должен интриговать, шокировать, притягивать. Лицо Марлен — оно поражало, запоминалось с первого взгляда и продолжало манить тайной.

Через много лет Билли Уайльдер, снимавший Марлен в фильме «Зарубежный роман», так объяснит секрет ее красоты: «Работая над фильмом, я часто задумывался над тем, что превращает актрису в кинозвезду, и понял — особая красота, порой граничащая с уродством. Достаточно одного миллиметра, чтобы красавица превратилась в монстра. Существует большая разница между хорошенькой и красивой женщиной. Хорошеньких много. Красота уникальна, как, впрочем, и уродство. Порой Марлен кажется карикатурой на самое себя. Вы посмотрите на ее скулы! Еще немного — и лицо превратилось бы в маску шута. А нос! Будь он на пару миллиметров шире, и ее лицо стало бы просто вульгарным».

Для съемок рекламных фото была создана серия восхитительных нарядов — меха, шляпы, вуали, драгоценности. Роскошь и изящество самой модели восхищали. Марлен была превосходной ученицей — осанка, пластика, мимика — вернее, почти полное ее отсутствие — все было на высоте. Каждое движение, запечатленное камерой, являло собой совершенство.

— А вот это уже лучше. — Толстые пальцы шефа

«Парамаунта» веером метнули фото Марлен на полированной столешнице. — Ты оказался прав, Джозеф! Она магически похожа на Гарбо.

— Она эффектней. Это бомба! — Фон Штернберг выложил перед шефом коронные фото: Марлен во фраке, с белым галстуком, в яхтсменском костюме с шортами и морской фуражкой.

— Мы рискуем.

— Нисколько. Завтра вся Америка будет наша. Серия рекламных снимков, сделанных фон

Штернбергом, произвела предсказанное им впечатление. От красавицы с идеальным телом и лицом Мадонны словно исходило сияние. Она же, одетая в мужской костюм, ошеломляла, шокировала, но неизменно восхищала. Отклики в прессе посыпались один сенсационнее другого: «Новая штучка из Германии», «Ответ «Парамаунта» на Гарбо»,

«Великая находка века». А фото Марлен в костюме яхтсмена — лихо сидящая на гордой голове фуражка, шорты, белые спортивные туфли с носками — вышло с надписью: «Женщина, которая нравится даже женщинам!».

Это была не просто удача — произошло рождение нового персонажа голливудской мифологии, предназначенного для блестящей и долгой жизни. Но для того чтобы обеспечить его жизнеспособность, требовались недюжинный характер, трудолюбие, изобретательность, вдохновение. И умение держать удар. Этими качествами Дитрих обладала: с высоко поднятой головой и стиснутыми кулаками она вошла в ворота славы, распахнутые перед ней судьбой.

В предстартовые дни подготовки к новому фильму было много хлопот. Но среди них не затерялось маленькое событие — сигнал из будущего.

Марлен пишет мужу: «Мы с Рези ходим на новые картины. Посмотрели «На западном фронте без перемен». Здесь фильм имеет огромный успех. Потрясающе! Пришли мне, пожалуйста, роман Ремарка. Я хочу прочесть его по-немецки. Целую, люблю. Мути».

## 11

В конце 1930 года фон Штернберг и Дитрих приступили к работе над фильмом «Марокко».

— Милая, помнишь, когда я уезжал из Берлина, ты дала мне в дорогу роман об американских легионерах в Африке. — Джозеф раскачивался в качалке на веранде, следя за Марлен, убиравшей со стола посуду после завтрака. — Да присядь же ты на минуту! Пусть хозяйством займется прислуга. Я расскажу тебе о нашем новом фильме.

— Ты собираешься делать исторический фильм? — Марлен придвинула шезлонг и села рядом, рассматривая ногти. — Мрачно и скучно.

— Нисколько! Действие переносится в наши дни, и дело вовсе не в военных событиях. Дело в ней — Эми Жоли!

— Хочешь угадаю — Жоли будет певицей!

— Разве мы можем лишиться зрителя удовольствия слышать голос Марлен? Давай я расскажу тебе все по порядку.

— Минутку, Джо! Принесу маникюрный набор. Руки, как у кухарки.

— Марокко — государство на Дальнем Западе, когда-то его называли Аль-Магриб аль-Акса. Это удивительная страна: на севере Средиземное море, на юге — пустыня Сахара, а на западе — Атлантический океан. В начале XX века Франция прихватила Марокко и сделала своей колонией. Однажды в город Могадор приезжает Эми Жолли — твоя героиня, чтобы выступать в местном варьете. Это профессиональная певица и восхитительная женщина.

— Какие будут песни?

— Лучшие. Здесь первоклассные спецы. Слушай дальше. Разбогатевший на колониальной земле местный донжуан Ла Бессье предлагает ей свое покровительство, а спустя некоторое время — руку и сердце. Но Эми отвергает его ухаживания, ведь она влюблена в легионера-американца Тома Брауна. Походные трубы зовут легионеров вновь в дорогу, и влюбленные должны расстаться. Девушка не в силах терпеть предстоящую разлуку, она отказывается от обеспеченной жизни и уходит босиком за любимым в пустыню...

— Любовь моя, мой волшебник... — Марлен обняла Джозефа. — Если бы ты велел мне и в самом деле наняться легионеркой, да еще пройти по песку босиком десять миль — я бы ни минуты не стала сомневаться.

Марлен не читала сценария — она уже знала о фильме достаточно, а в нужный момент Джо подскажет, как надо действовать в кадре. Единственное, что интересовало Дитрих, — костюмы героини, в которых она знала толк. Фон Штернберг, восхищенный умением

Марлен находить точное решение внешности изображаемого персонажа, шел на немислимые уступки ее требованиям. В черно-белом кино черный цвет, как и чисто белый, считался запретным. Ткани, окрашенные в черный цвет, теряли на экране объем, превращаясь в пятно, темноту. Но Дитрих предпочитала сниматься в черных костюмах, стремясь выглядеть изящней и стройнее, причем чаще всего — в бархатных. И фон Штернберг сотворил чудо — он наделил этот цвет особым богатством оттенков. Бархатные туалеты Марлен играли переливами теней, подчеркивая именно то, что надо было выявить, и скрывали то, что зрителю замечать не следовало.

Первая сцена «Марокко» задавала тон всему фильму. Образ загадочной путешественницы должен был сразу подчинить воображение зрителей.

...Морской туман окутывает палубу маленького парохода, приближающегося к побережью Северной Африки. В гаснущем свете дня появляется путешественница — черный костюм, черная широкополая шляпа. Лучи заходящего солнца подчеркивают высокие скулы, совершенную посадку головы, и лишь глаза искушенной, многое повидавшей женщины приковывают интерес. Она всматривается в темноту, словно пытается рассмотреть свое будущее.

Веки устало приподнимаются, она изучающе смотрит на подошедшего к ней мужчину.

— Вам помочь? — спрашивает он.

— Мне не нужна помощь, — произносит завораживающий голос, и незнакомка отворачивается, предоставив возможность камере оглаживать ее обтянутый черным крепом зад.

Не зная устали, Марлен подчинялась требованиям Джозефа и выглядела неправдоподобно прекрасно. Даже в конце рабочего дня, когда съемочная группа валилась с ног и оставалось доснять лишь крупные планы, кожа Марлен казалась свежей и нежной, как после долгого сна, а глаза сияли.

Работа над фильмом шла по уже испытанной схеме — расписанные Штернбергом до сантиметров шаги и повороты героини, фразы и паузы на счет раз-два-три, выверенные жесты, наклоны головы.

Уже с первых съемок в Голливуде Марлен ввела неизменную традицию — повсюду на площадке за ней следовало двухметровое зеркало с вмонтированными подсветками. Зеркало разворачивали так, чтобы Марлен могла видеть себя именно в том ракурсе, в каком видела ее камера. Это помогало ей контролировать мельчайшие детали костюма и грима, следить за выразительностью лица и позы.

Режиссер был в восторге. Он в упоении творил новую версию любовного мифа для кинодебюта в США своей германской музы.

Завершив съемки и смонтировав фильм, фон Штернберг показал его Марлен. В просмотровой были только они. Не произнося ни слова, Марлен сжимала руку Джозефа всякий раз, как что-то поражало ее на экране. Тени, краски, звуки, ракурсы, штрихи грима, ткани и металл, стекло и стразы, попадавшие в кадр, фон Штернберг подчинял его волшебству. Увиденное на экране приводило в восторг. Не фильм — обсуждать фильм дело критиков, считала Марлен, — ошеломляла она сама — рукотворный образ божественно прекрасной женщины, являвшийся из мира смелого вымысла. Стискиваемая Марлен рука Джозефа покрывалась синяками.

В тот вечер по дороге домой она сунула записочку в карман его брюк: «Ты, ты один — Маэстро — Даритель — Оправдание моей жизни — Учитель — Любовь, за которой мне должно следовать сердцем и разумом».

Оба максималисты, способные до последних сил биться над задуманным, Джозеф и Марлен были созданы друг для друга. Он же чутьем влюбленного и мастера угадал идеальный образ своей Галатеи, она воплощала его с неколебимой исполнительностью.

Новый облик актрисы, появившейся в фильме «Марокко», поразил всех, кто знал ее раньше. На смену имиджу невинного ангела пришел образ роковой женщины, страдающей

от любви и заставляющей страдать других. Героиня Марлен, поющая в баре в цилиндре и белом фраке игривую мужскую песенку, смело целовала сидевшую за столиком девушку и преподносила ей букетик фиалок — первый в истории кинематографа женский поцелуй, хотя бы и в шуточной форме.

Режиссер и не предполагал, какой толчок развитию моды даст костюм героини его фильма. Вскоре многие американки начали щеголять в слаксах, а в домах моды произошла целая революция.

«Марокко» дал студии колоссальные прибыли, пластинка с песнями из фильма, исполненная сексуальным хрипловатым голосом, расходилась бешеными тиражами.

Казалось бы, сложился редкий и счастливый творческий союз, стремящийся перейти в семейный. Но фон Штернберг состоит в браке, и жене хорошо известно, сколь велика роль страсти в его творческом процессе. Однако она не только не собирается уступать Марлен супруга, но и давать ему свободу. Возмущенная женщина затевает судебные процессы с требованием возместить моральный ущерб. Хотя Марлен ситуация злила, но семейный статус фон Штернберга устраивал, ведь сама она вовсе не собиралась менять мужа. Как бы ни были горячи эмоции Марлен по поводу обожаемого Джозефа, она понимала, что в ее жизни будет еще не один режиссер и не одно увлечение, а лучшего супруга, чем Зибер — компаньона, друга, советчика, — не найти, идеальную ширму для ее интимной жизни терять не стоит.

Пока за кадром бушевали семейные страсти, карьера Марлен продвигалась с невероятной скоростью. Почти сразу же после «Марокко» был запущен следующий фильм. Сюжет набросал фон Штернберг для отчета перед студийными боссами, поскольку сам он полагался более на настроение и импровизацию. Фильм о захватывающих приключениях прекрасной шпионки X-27, в финале расстрелянной красным офицером, вышел на американский кинорынок под названием «Обесчещенная». На МГМ, проклиная проницательный «Парамаунт», поспешно готовились к съемкам фильма «Мата Хари» с Гретой Гарбо в главной роли.

Американцы увидели «Голубого ангела» уже после «Марокко» и «Обесчещенной». Всего за четыре месяца имя Марлен заняло звездное место перед названием фильма, где ему предстояло стоять еще долгие годы.

Волна славы подняла Марлен на гребень. На обложках журналов — ее портреты. Ее интервью, статьи о ней — в каждом издании. Грандиозная рекламная кампания «Парамаунта» сделала свое дело: Дитрих — самая яркая звезда не только в Америке, но и в Европе. Отныне обывателя интересует каждый ее шаг, каждое слово, привычки, духи, мыло и марка белья, ее диеты и высказывания обо всем на свете.

Имя Марлен стали давать новорожденным девочкам. Пресса пела дифирамбы, у ворот студии звезду ждали толпы журналистов. Многие мужчины мечтали только о том, чтобы положить к ее ногам все свое состояние, знаменитости искали с ней встреч, чтобы сфотографироваться вместе, герцоги, генералы и высшие чиновники наперебой приглашали ее отобедать. Водоворот блистательной жизни закружил Марлен. В почестях, восторгах и преклонении, сопровождавших Дитрих, шлифовался ее врожденный эгоизм, просто и совершенно естественно она взлетела на пьедестал «небожителя», с высоты которого отныне будет смотреть на тщетную и глупую суету простых смертных.

Из личины романтической девицы и заботливой матери выбралась и расправила крылья личность самовлюбленной эгоистки, жестко подчиняющей себе окружающих. Она преклоняется перед собственным совершенством, недоступным иным смертным, она упоена им, она на все готова ради него, ни на секунду не сомневаясь, что посвящать свою жизнь ее персоне — высшее предназначение попадавших на ее орбиту людей. Экранный образ все больше заслоняет живую Марлен. «Настоящая жизнь» и экранная жизнь сплетались в драгоценную ткань мифа.

А фон Штернберга хулили, обвиняя в плохом вкусе и грубом использовании исключительного дарования актрисы. Он язвительно отговаривался на пресс-конференциях, понимая, что обладает сокровищем, о котором только и мечтают его конкуренты.

## 12

На Рождество 1931 года Марлен съездила в Германию и вернулась с дочерью. К этому моменту Джозеф приготовил для нее новый дом — более шикарный и комфортабельный.

Особняк, стоящий среди кипарисов и банановых деревьев, был выдержан в стиле арт-деко тридцатых годов — элегантная функциональность, много стекла, зеркал и хромированного металла. Каждая из многочисленных комнат носила собственное название.

— Это для тебя, мой ангел, — двадцатиметровая гардеробная «Наслаждение», зазеркаленная от пола до потолка. А рядом — спальня «Весна», ванная

«Лотос» — все в твоём вкусе. — Фон Штернберг, пряча в длинных усах довольную улыбку, показывал Марлен новые владения. — А вот сюрприз специально для Кота — сад с её личным бассейном.

Он распахнул стеклянную дверь необъятной гостиной. На лужайке с ухоженным цветником искрился под веселым солнцем бассейн, покрытый цветным мозаичным кафелем.

Семилетняя Мария пришла в восторг от виллы — банановые пальмы, море роз, бассейн! Солнце и пляж, «пепси» и гамбургеры — все здесь казалось ей верхом блаженства. Она сразу почувствовала себя так, словно попала на свою истинную родину.

Но девочка, которую взрослые называли Ребенок или Кот, сдерживала эмоции, убедившись уже на своем небольшом, но поучительном опыте, что хвалить и любить что-то кроме матери-королевы опасно. И к тому же — восхищаться тем, что раздражает Марлен.

— Такой огромный? Слишком много воды для Ребенка. Мария не олимпийский рекордсмен, — нахмурилась Марлен. Эта волевая немка не отличалась восторженностью, мало что радовало ее понастоящему. Но уж точно не природа, зверюшки, и даже не атрибуты голливудской роскоши. Куря сигарету и ведя за руку дочь, она следовала за Джозефом, едва сдерживая раздражение от затеянной им экскурсии. Фрау Дитрих не любила животных, обслуживающих её людей, с трудом терпела некоторые виды цветов, ненавидела докторов, не доверяла науке.

— И зачем мне столько всего? — Она с раздражением развернула толстую тетрадь с перечнем имеющегося на вилле «хозяйственного инвентаря». — Восемь обеденных сервизов на пятьдесят персон, шесть сервизов для ланча и чая — все из самого дорогого фарфора. Несколько дюжин хрустальных бокалов и столько белья, что хватило бы на целый дворец. А здесь? Ты взгляни только, Джозеф! Золотые столовые приборы! Это для ужина, и серебро высокой пробы для ланча.

Вскоре Марлен как ни в чем не бывало ела суп золотой ложкой, прихлебывая пиво из бокалов баккара.

— Господи, как же я хочу в Германию! — вздыхала она по любому поводу. Мария опускала глаза и тихо молилась, чтобы Америка в её жизни никогда не кончалась.

Фон Штернберг приходил каждое утро к завтраку в просторных белых фланелевых брюках, шелковой рубашке и жокейской фуражке. Никто бы не подумал, что несколько часов назад, в нежном свете раннего утра, Джозеф покинул спальню Марлен и воровато уехал к себе, дабы переодеться. Она строго соблюдала этот конспиративный ритуал со всеми своими поклонниками, ссылаясь на то, что фривольность нравов может шокировать Ребенка, да и пункт студийного контракта о соблюдении моральных устоев требует серьезного отношения.

На столике в саду, под синим с белой каймой тентом, Джозефа уже ждала знаменитая яичницаболтунья. А на металлических стульях с пестрыми подушками на сиденьях восседали дамы: Мария с безупречно прямой спиной воспитанного ребенка и «домашняя»

Марлен — в свободной пижаме кремового шелка, широкополой соломенной шляпе, в повседневной косметике и парусиновых туфельках с наивными носочками. Тускло блестело серебро, сиял фарфор, жужжал шмель в букете любимых Марлен тубероз, легкий ветерок шелестел банановыми листьями, в бассейне отражалась незамутненная небесная лазурь — обычный голливудский завтрак, в обычной Калифорнии, где в году насчитывается 360 солнечных дней. И никаких снегопадов.

Иногда за завтраком место Джозефа заменял Морис Шевалье. Тоже в белых фланелевых брюках и в лихо заломленном берете. Французский певец, композитор и актер, приехавший на съемки в Голливуд, был несомненным обаяшкой. Он быстро усвоил, что близким друзьям Марлен полагается обожать ее стряпню. Особенно тем, кто ранним утром проделывал конспиративный побег из ее спальни. Фон Штернберг едва сдерживал бешенство — он не разделял взглядов Марлен на сексуальную свободу, но старался не затевать ссор.

— Не понимаю, что плохого в том, что я не терплю подружек? Ненавижу бабскую болтовню, сплетни. Предпочитаю дружить с талантливыми мужчинами. Морис так мил, он обожает Кота и всегда готов помочь мне, — отчитывала она фон Штернберга, осмелившегося сделать замечание по поводу завтраков Шевалье и его излишней приближенности к Марлен.

— И все же, любимая, он мог бы бывать здесь и реже. Талантливый мужчина — это прежде всего я. И я не прихожу к тебе праздно болтать, я работаю над созданием нового фильма.

Марлен вздохнула, страдая от непонимания. Всю жизнь окружающие ее мужчины будут претендовать на единовластие. Кроме мужа, которому всегда можно пожаловаться на страдающих от ревности любовников. Мужчин, не ответивших взаимностью, она никогда не забывала очернить и ославить. Свои выдумки фрау Дитрих подавала с таким изяществом, что сомневающихся в их правдивости не было.

Фон Штернберг набрасывал новый сценарий, подробности которого пока предпочитал умалчивать. Известно было лишь название — «Шанхайский экспресс».

Все трое мирно проводили вечер в шикарной гостиной. Тихо бубнил радиоприемник, за стеклянной стеной алой полосой сияла гладь бассейна, отражая перистое убранство вечернего неба. Марлен вышивала по канве, натянутой на деревянных пяльцах, Джозеф что-то размашисто писал в лежащей на коленях тетради. Мария предпочитала разглядывать в огне камина заметные лишь ей сюжеты. До тех пор пока Штернберг не переходил к занятиям английским, что делал спокойно и чрезвычайно толково, в отличие от нанятого для девочки учителя.

— Ты слышишь, Джо, у Линдбергов украли ребенка! Требуют выкуп. Какой ужас! — Марлен вскочила и прибавила звук приемника, слушая потрясенное ее сообщение.

— Оставь это дело полиции, дорогая. У тебя завтра встреча с Тревисом. Что вы решили насчет костюма для «Шанхайского экспресса»?

— Сегодня он спросил меня о моей героине:

«Кто-нибудь знает, кого ты будешь изображать в этом фильме? И что вообще там происходит?» А я ему: «Об этом надо спрашивать не меня. Джо даже еще не дал героине имя».

Фон Штернберг оторвал глаза от листов:

— Ее зовут Шанхайская Лилия. Дело происходит во время путешествия из Пекина в Шанхай. И не только в поезде.

Тревис Бентон — главный дизайнер «Парамаунта» — имел импонирующий Дитрих британский вид с отпечатком элегантно мужественности. Он оказался прекрасным



соавтором Марлен в создании костюмов для ее героинь. Столь же неумный искатель совершенства, как и Марлен, увлекающийся своим делом до самозабвения, Тревис без сна и усталости, обмирая от удачных находок, сочинял вместе с Дитрих подлинные шедевры. Главное — найти единственно возможную из сотен вариантов тень от вуали, создающую волшебство тайны, уложить складки полупрозрачного шелка, окутывающего тело, так искусно, чтобы не возникало сомнения в полной естественности рукотворной красоты, создать образ, подчиняющий воображение миллионов.

— Ее зовут Шанхайская Лилия! Перья, Тревис! Нам нужны перья! — Марлен вихрем ворвалась в офис Бентона. — Черные перья! Я думала всю ночь и поняла: Шанхайская Лилия должна предстать в ореоле экзотической тайны. Именно перья! Какие перья наиболее фотогеничны?

Вскоре мастерская Тревиса была забита доставленными из сокровищниц реквизиторской коробками. В продолговатых, длинных, глубоких и мелких ящичках лежали перья — прямые, с завитками, пушистые, острые, жесткие, мелкие и крупные. Но все черные, пахнущие экзотическими странами. Марлен задумчиво ходила среди коробок, перебирая образцы.

— Ты говоришь, это страус? Длинные, но чересчур плотные. А эти словно бензином облитые радужные перышки? Одежка «райской птички»? Мелковаты. Смотри — здесь написано «черная цапля» — пикантно... — Марлен приложила к виску пучок перьев. — Но выглядят жидко. Лебедь? Фи! Похожи на вороньи и слишком жесткие. Не пойдет... Орел? Чересчур широкие и сразу напоминают про индейцев. Марабу? Нежный пух, разлетающийся от малейшего дуновения, хорош для пеньюара... И это все? — Марлен с тоской окинула взглядом завалы коробок.

Тревис замер с округлившимися глазами и стукнул себя по лбу костяшками пальцев:

— Знаю! Нам нужен петух! Хвосты настоящих мексиканских бойцовских петухов!

Когда необходимая коробка была доставлена, он торжествующе поднял крышку. Иссиня-черные перья просвечивали даже сквозь папиросную бумагу.

— Мечта! — Марлен перебирала перья. — Узкие, длинные, гибкие! Наконец мы можем заняться первым костюмом — это будет визитная карточка фильма! — Она расцеловала Тревиса в обе щеки. — Только надо подобрать вуаль.

Вскоре вуали, оснащенные ярлыками, лежали рядами на сером ковролине — нежные и плотные, усеянные черными мушками или стразами, из черного гипюра и простой сетки. Марлен забраковала все. Марлен пылала страстью поиска, требуя все новых образцов, копалась в паутине переплетений, и вдруг ее лицо просияло:

— Нашла! «41» — то, что надо. — Она потрепала Тревиса по плечу.

Несколько недель от шести утра до двух ночи Марлен и Тревис как заговорщики трудились над костюмом. Марлен обладала исключительной выносливостью и не знала усталости. С Тревисом ей повезло — маэстро был неугомонным.

Наконец костюм был закончен. Фон Штернберга вызвали в гардеробную, дабы представить ему Шанхайскую Лилию. Марлен стояла на высокой платформе, отражаясь в чередующихся зеркалах. Загадочный взгляд из-под вуали, плотно прилегающая к голове черная шляпка, превращенная в экзотический цветок извивами блестящих перьев. Длинное платье и накидка с отделкой из тех же перьев струились по плечам. Нить крупного хрусталя манила взгляд, уводя его к талии, где рука в туго натянутой черной перчатке держала черно-белую сумочку в стиле арт-деко. Едва войдя в комнату, фон Штернберг остановился, не отрывая взгляда от Марлен. Волшебное, невиданное существо! Не говоря ни слова, он подошел к Марлен, подал ей руку, помог сойти с пьедестала, склоняясь, поцеловал ее перчатку и тихо сказал по-немецки:

— Если ты полагаешь, что я сумею снять все это на пленку, то ты считаешь меня волшебником. — Обернувшись к встревоженному Тревису, фон Штернберг одобрительно кивнул и продолжил по-английски: — Великолепное воплощение невозможного. Я поздравляю вас всех.

В союзе фон Штернберг-Дитрих состязание талантов играло уникальную роль. Она задавала камере невыполнимые задачи, он требовал от нее то, что выходило за рамки актерского мастерства. Иногда лексикон их перепалок на площадке смущал присутствующих, а порой вызывал умиление. В конце концов, подобно Флоберу, Джозеф изрек:

«Марлен Дитрих — это я! Я — это Марлен Дитрих».

Шел к концу 1932 год, ей было немногим больше тридцати. Марлен стала звездой мирового кино, получающей самые большие в мире гонорары. Но ни наличие кухарки, ни возможность получать еду из любых ресторанов не охладили ее парадоксальную любовь к стряпне. Она приобретает кулинарные книги и по ним учится готовить. Ее коронным номером стали несколько блюд. Прежде всего это наваристые бульоны из овощей и разных сортов обезжиренного мяса, которым Марлен придавала целебное значение, которые она в термосах развозила прихворнувшим друзьям, преимущественно, правда, самого ближнего, допущенного к ее особе круга. И фирменное мясное жаркое, неизменно приготавливаемое ею для друзей. Марлен никогда не сомневалась, что если уж берется за что-то, то сумеет это сделать лучше других. Легенды о ее феноменальном кулинарном мастерстве стали частью мифа Великой Дитрих.

Страдая от ревности, фон Штернберг не охладевал к своей избраннице, изобретая для нее все более искусительные ампулы. Собственно, он подогревал свое чувство созданными им экранными образами и не переставал желать ее — свою Галатею. А кого любила Марлен, столь жаждавшая пылких чувств с детских лет? Фон Штернберга, семью, кино, калейдоскоп поклонников? — Марлен любила себя.

...Отгорел закат, небо потемнело, в саду зажглись декоративные лампы и начали свою песню неугомонные цикады.

— Мути, Мутиляйн! Смотри, смотри скорее туда! — Мария подпрыгивала, тыча пальцем вверх.

— О господи! Смотрите! — Марлен вскочила, прижав к себе дочь и запрокинув голову.

Самолеты чертили в небе ее имя. Все стояли на площадке и читали буквы, струящиеся из самолета, — МАРЛЕН ДИТРИХ.

— Мами, звезды смотрят на нас через твое имя! — Глаза Марии восторженно блестели. Какому еще ребенку довелось увидеть такое? Чудесная, единственная Королева!

Какие бы метаморфозы ни происходили с Марлен в процессе прогрессирующего эгоцентризма, она неизменно исполняла свои любимые роли в «настоящей жизни» — сестры милосердия, щедрой дарительницы и фанатичной матери. Правда, с годами роль фанатичной Мути приобретет характер декоративной ширмы и любящая мать превратится в чудовище, не отдавая себе в этом отчета и считая себя правой в самых нелепых поступках.

С самого начала — с приезда Марии в Голливуд, Марлен, скостившая себе несколько лет, уменьшала и возраст дочери. Марлен продолжала выдавать за шестилетнюю крошку и одевать в наивные детские платья девятилетнюю девочку. Близкие люди удивлялись разумности Ребенка, фотографы, делавшие семейную рекламу, ухитрялись снимать рослую дочку звезды до талии. Но этот обман, муСделав Марию своим преданным секретарем и помощником, Марлен не испытывала ни малейших сомнений в том, что угодила ребенку лучшую участь, какую только может дать своему дитя мать мегазвездных масштабов. Ее малышка — Радость моя, Ангел или Кот — вместо семьи имела в «приятелях» любовников матери, вместо компании сверстников — безмолвных секьюрити, вместо школы — съемочный павильон.

Несомненно, Дитрих считала образ жизни девочки-секретарши ценнейшим подарком для своей дочери. Она всегда стремилась к тому, чтобы ее Ангел имел все самое лучшее. И

даже более того. Она мечтает о настоящем Рождестве? Бедняжка, она забывает, что живет в Калифорнии. Что за Рождество без снега и санок? Какая елка среди пальм и роз?

Универсальный магазин Буллока в Уилшире, пригороде Лос-Анджелеса, был точной копией Крайслер-билдинга в несколько уменьшенном виде. Сводчатый зал первого этажа, похожий на собор, светился разноцветными стеклами витражей, а в самом центре возвышалась гигантская рождественская елка с серебряной звездой на верхушке, усыпанная сверкающим искусственным снегом. Все убранство елки, от бесчисленных гирлянд лампочек до последнего шара, было серебристо-голубым, льдистым, морозным. Марлен с замиранием сердца смотрела, как обомлела от невиданной красоты ее дочка.

Рождественским вечером 24 декабря Марию ждал сюрприз. Заиграла музыка, фон Штернберг и Марлен распахнули двойные тяжелые двери гостиной, и перед малышкой, одетой в пышное кружевное платье, воссияла сказка: во всем своем двадцатифутовом великолепии в центре комнаты

стояла елка из магазина! Этот день Мария запомнила на всю жизнь, как помнила и многое другое — чудесное и страшное, когда ее жизнь стала частью легенды Великой Дитрих, а обожаемая Мами превратилась в чудовище.

## 15

«Шанхайский экспресс» публика приняла на ура: посыпался шквал восторженных рецензий. Из отдела рекламы поступали фото, которые Марлен тщательно отбирала и со знанием дела ретушировала. Проведенная вдоль носа светлая линия выправляла его форму. Щеки и крылья носа затушевывались тенями, на нижних веках ставились два белых штриха, делая глаза распахнутыми и словно подернутыми слезой. Она ловко владела восковым карандашиком для бровей, утоньшая пальцы и запястья, по ее мнению, недостаточно изящные, подправляла очертания фигуры. А волосы в самом деле светились золотом. Хотя Марлен и не отрицала слухов, что посыпает их настоящей золотой стружкой, свет фон Штернберга творил чудеса. Отретушированные снимки переснимались в огромном количестве и рассылались всем друзьям и знакомым в фирменных конвертах «Парамаунта».

— Джо, Папилайн пишет, что в Берлине готовится нечто ужасное. К власти рвутся какие-то нацисты. Почитай это письмо, прямо страшно становится. — Марлен бросила на стол письмо мужа, но у фон Штернберга было табу на чтение чужой переписки. Марлен же, достаточно сдержанная в разглашении интимных секретов, обладала еще одной парадоксальной особенностью: всю жизнь она не только пересылала мужу письма поклонников, обсуждая с ним любовные ситуации, но и оставляла листки любовной переписки по всему дому. Скорее всего, Марлен считала, что все, происходящее в ее жизни, имеет огромную ценность для ее близких и представляет интерес для потомков, — супруг до самой смерти хранил письма от поклонников жены и ее дневники с любовными излияниями в адрес не одного десятка мужчин.

Джозефа это поражало, как и многое в Марлен, и порой он не знал, чего в нем больше — восхищения полной свободой этой парадоксальной женщины или отвращения. Но коктейль из противоречивых чувств пока действовал на него стимулирующе.

Они сидели в садовых шезлонгах, слушая, как плещется в бассейне Ребенок, и краем глаза контролируя следившую за ней прислугу. Марлен с показным старанием мучила вышивку в пяльцах — вещественное доказательство ее домовитой женственности.

— Тебя интересует наш следующий фильм? — Джозеф коротко взглянул на распутывающую нитки Марлен и выдержал паузу. — Ты покажешь идеальную мать, преданную, жертвенную жену, уличную проститутку в ночном клубе, элегантную содержанку, звезду кабаре...

— Сразу несколько ролей? — Брови Марлен, выписанные дугой на фарфоре высокого лба, чуть приподнялись. Она сплюнула откусанный узелок шелка.

— Всего лишь разные ипостаси этой бедняжки, которой всего лишь раз пришлось оступиться — изменить мужу. — Он вздохнул с преувеличенной скорбью. — Элен — певица варьете, и очень известная. Дело происходит в Германии. Американский химик Нед Фарадей попадает на ее выступление и теряет голову.

— А она до смерти влюблена в главаря гангстеров.

— Никакого главаря. Она отвечает Неду взаимностью. Они уезжают в Америку, сочетаются законным браком. У Элен рождается прелестный мальчик. Но...

— Джо, не тяни. С кем она изменяет этому химику-импотенту?

— Ну не все же химики... — Джо пожал плечами и продолжил: — Бедняжка вынуждена отдаться богачу ради мужа. Дело в том, что Нед облучен и нуждается в дорогостоящей операции. Элен, жертвуя собой, находит деньги. Муж спасен, но ему становится известно, как расплатилась Элен за его лечение.

— На руках должен носить ее до конца жизни. Я же говорила, что он — импотент! И еще предъявляет ей претензии! Ненавижу этих мучеников морали!

— Нед выгоняет жену, разлучив с сыном. И тут...

— И тут бедняжка пускается во все тяжкие. Жаль только, что неизбежный хеппи-энд заставит ее примириться с этим идиотом мужем.

— Семья соединяется! — Джозеф отогнал газетой комара. — Фильм я намерен запустить в ближайшее время. Пора завершать твой дивный отпуск.

Он намекал на простой Марлен после «Шанхайского экспресса», вылившийся в приятный отдых с флиртами. В эти свободные от съемок дни она высыпалась, готовила горы всевозможной еды.

Весь день наслаждалась приготовленными блюдами, а потом, одевшись с продуманным шиком, отправлялась на вечеринки, где до утра танцевала с Шевалье, Чарли Чаплином, Джоном Берримором и другими неотразимыми голливудскими героями.

На правах друга дома и по причине легкого характера Морис Шевалье поддерживал необременительные отношения с Марлен, в разряд которых поначалу его роман со звездой вполне вписывался. Конечно же, она была страстно влюблена, засеив серьезной занозой в сердце поклонника. Марлен с наслаждением болтала по-французски со своим очаровательным кавалером, с утра до вечера слушала его пластинки и с удовольствием в его сопровождении вращалась в киношных кругах. Разумеется, их видели вместе и сфотографировали щека к щеке, и если Шевалье льстило такое внимание, то фон Штернберг приходил в ярость.

— И тебе это нравится? — Ворвавшись в спальню Марлен, Джозеф бросил на кровать снимки. Полагаешь, можно вот так просто растоптать все, что было у нас? — Он подступил вплотную к кровати, и Марлен поджала ноги со свежим педикюром, рискуя испачкать персиковый шифон своей роскошной ночной пижамы.

— Ненавижу, когда мужчины с фамилией на «фон» орут, как извозчики! Настоящий прусский фельдфебель!

— А знаешь, кто ты? Дрянь! Обыкновенная шлюха! Ты спала с Морисом!

— Боже, как же ты невыносимо, пошло буржуазен! — Марлен отвернулась с видом оскорбленного достоинства. Королевский изгиб спины, гордо вскинутая голова.

Круто развернувшись на каблуках, фон Штернберг покинул комнату. Ночью он пробрался на студию и уничтожил все негативы фотографий Марлен с Шевалье. Но было поздно: журналы и газеты успели напечатать снимки.

Вскоре Марлен получила записку от фон Штернберга:

«Любовь моя, моя истинная любовь! Я сожалею о своих словах. Ты не заслужила таких обвинений, а я вел себя несносно и необъяснимо... Слова нельзя просто стереть, за каждое нехорошее слово надо платить. Именно это я и сделаю».

12 мая 1932 года ребенка Линдбергов, за которого был полностью внесен требуемый выкуп, нашли мертвым. Спустя три дня миссис Дитрих получила письмо с угрозой похитить дочь и требованием выкупа.

Это были черные дни для Марлен. Она не играла в до смерти перепуганную мать, она в самом деле умирала от ужаса. Были подняты на ноги все службы безопасности, дом превратился в охраняемую крепость, но угрозы продолжали приходить. Шантажистам был подготовлен выкуп и устроена засада, но никто за деньгами не явился. Мария еще долго находилась под охраной секьюрити. Заказчик так и остался неизвестным.

Когда из Европы прибыл срочно вызванный муж Марлен, угроза похищения отошла в прошлое и Дитрих углубилась в съемки «Белокурой Венеры». Она с увлечением изображала женщину, переживающую цепь опасных приключений, а фон Штернберг с величайшим мастерством снимал свой любимый объект — ее дивные ноги — и придумывал трюки, благодаря которым Марлен предстанет во всей своей неотразимости. На этот раз миссис Дитрих появлялась даже в костюме гориллы. Она исполняла фантастический танец, а затем, сидя на ветвях дерева, медленно снимала с себя части мехового облачения, являя зрителям совершенство дивного женского тела.

«Белокурая Венера» вышла на экраны и провалилась с треском. Номер с гориллой, щедро показанные ноги и белый фрак Марлен публика с аппетитом проглотила, а остальное отвергла. Марлен рвалась на родину.

Но политическая ситуация в Германии вызывала опасения, и Марлен вновь пришлось остаться в Америке. На этот раз она захотела жить подальше от Голливуда, на берегу океана, полезного для здоровья Ребенка.

Усадьба в Малибу поражала воображение. Отделенный от океана дамбой и огромной стеной дом в колониальном стиле с элементами древнегреческой архитектуры изобилует дворцовой роскошью. Из огромного холла вела наверх винтовая лестница в стиле тюдор с версальской люстрой, портик, окруженный колоннадой, выходил на Тихий океан, в саду зеркалом мерцала гладь гигантского бассейна.

В промежутке между двумя картинами Марлен занималась фигурой — стаканами пила теплую воду с английской солью, много курила и злоупотребляла кофе. При такой, никогда не менявшейся «диете» потребность в положительных эмоциях возрастала. Идолу требовалось поклонение, лавина возвышенных, жарких признаний, острых впечатлений — формировался своеобразный тип вампиризма, питающегося эмоциями поклонников.

В доме на побережье появился Белый принц — так называла себя миниатюрная испанка с фигурой подростка и черными как смоль волосами. Глубоко посаженные глаза страстно мерцали на меловом узком лице. Мерседес д'Акоста — далеко не молодая особа, поддерживающая имидж утонченного юноши, была известна не столько как сценаристка и писательница, сколько как любовница Греты Гарбо и, как она утверждала, Элеоноры Дузе, Айседоры Дункан. Бурный роман скучающей Марлен с экзотической испанкой разгорелся мгновенно. Дитрих по нескольку раз на день атаковали гонцы с письмами от огненной Мерседес, подписанные «Принц» или «Рафаэль». К Дитрих она обращалась с придыханием — Золотая, Чудная, Дражайшая, расписывая нюансы своего чувства.

«Чудная! Сегодня исполняется уже неделя с тех пор, как твоя прекрасная дерзкая рука раскрыла лепестки белой розы. Прошлой ночью было еще чудеснее. О, это изысканное белое личико! Позвони перед тем как лечь спать. Я хочу услышать твой дивный голос. Твой Рафаэль».

Даже обожавшей романтические отношения Дитрих такой стиль казался чрезмерно слащавым. Начав тяготиться неумной пассивностью, она быстро сменила увлечение. Ее эпизодическим избранником стал тренер по входившему в моду теннису — англичанин Фред Перри — загорелый спортивный красавец. Но тоже ненадолго. Марлен легко меняла партнеров в постели, что свидетельствовало не столько о ее сексуальном аппетите, сколько о потребности в преклонении, абсолютной рабской преданности. Сопровождающий эти

сюжеты секс она всю жизнь старалась преподнести как неизбежное бремя, которое приходится претерпевать женщинам. Позже Марлен пожалуется повзрослевшей дочери на животную природу мужчин:

«Они всегда хотят всунуть в тебя свою «штуку» — это главное, что им надо и ради чего распускаются павлиньи перья и исполняются соловьиные песни. Если ты отказываешь им прямо на месте, они говорят, что ты их не любишь, злятся и уходят. Но ведь перья и песни стоят всей этой возни! Но больше всего я люблю импотентов. Они так милы. Можно спокойно спать вместе, разговаривать обо всем, и это так уютно!»

«Уютные» мужчины обожали Марлен, но очевидное наслаждение, которое она дарила им, несмотря на их мужское бессилие, как правило, приводило к счастливому исцелению. Возможно, в каких-то случаях секс и тяготил Марлен, но ее неутомимое стремление к новым партнерам и ненасытную жажду влюбленности одной потребностью в романтизме объяснить маловато.

## 17

Завораживающая чувственность экранных образов Марлен стала стержнем ее мифа, основой ее феноменальной славы. О необычайной сексуальности Дитрих говорили все — критики, доброжелатели, враги. Термин «секс-символ» возник позже, с появлением Мэрилин Монро. В начале тридцатых, возвеличивших эротизм Марлен, на экране царил целомудрие: не было ни раздевания, ни обнаженных тел. Даже поцелуй героев, сопровождавший хеппи-энд, должен был выглядеть благопристойно. Лишь поколения спустя на экран выйдет то, что старательно скрывалось от зрителя, — обнаженное тело. Марлен удавалось разжигать основные инстинкты зрителей, сохраняя ауру загадочной недостижимости своих героинь. Краешек подвязок Марлен Дитрих и сегодня сводит с ума мужчин больше, чем самые откровенные кадры современного кино. Дитрих осталась неподражаемой в искусстве эротики: она соблазняет взглядом, позой, деталями — соскальзыванием с плеча мехового манти, натягиванием перчатки, поворотом головы — небрежным и зовущим.

Вплоть до конца 40-х годов камера упивается ногами Марлен и хранит полнейшее целомудрие в отношении других прелестей, остающихся на территории заэкранного мифа. Только в такой ситуации стали возможны тайные трюки Марлен по преобразению своего тела в желанный идеал. У нее был секрет, тщательно охраняемый приближенными людьми, — отвислая, дряблая грудь, потерявшая форму из-за длительного вскармливания дочери. Имплантанты еще не вошли в практику пластической хирургии. Спасение Марлен искала в бюстгальтере с чудодейственным эффектом. Он должен был сохранять ощущение обнаженного тела даже под почти прозрачной тканью и быть чрезвычайно крепким, дабы удерживать необходимую форму в разных обстоятельствах. Для платьев с глубоким декольте или обнаженными плечами, где никакими портняжными ухищрениями невозможно было добиться необходимого совершенства округлостей, использовалась клейкая лента, затягивающая плоть в необходимую форму.

Этому искусству рано обучилась дочь Марлен, исполнявшая роль личного доверенного лица и самого аккуратного секретаря и камеристки Королевы.

Лишь много позже, с появлением новых тканей, возникла идея универсального корсета, дающего иллюзию обнаженного тела даже под прозрачным шифоном. Марлен продумала конструкцию в деталях, не исключая торчавших из чашечек корсета сосков.

Ни перед кем из своих любовников даже в самые интимные моменты она не позволяла себе явиться обнаженной. Как же нелегко давался ей образ безукоризненной богини, совершенства, к которому она относилась с самой высокой требовательностью! Дитрих часами простаивала в примерочной, пока портнихи до мельчайших деталей подгоняли очередной туалет. Она партиями заказывала сделанные по слепкам конечностей перчатки и туфли, поскольку считала, что ее кисти и ступни не соответствовали идеальным канонам. Руки Марлен научилась изящно демонстрировать в процессе курения, засовывала в карманы

брюк или втискивала в тонкие перчатки. Туфли должны были быть непременно с закрытым носком — босоножки Марлен считала вульгарными. В тех катастрофических случаях, когда ей все же приходилось на экране показывать стопы, она прятала их под тонкими чулками, драгоценностями, украшениями, гримом. В личной жизни действовали те же законы. Страх показать собственное несовершенство заставлял богиню экрана изобретать различные ухищрения.

Дитрих коллекционировала тонкие шелковые рубашки и виртуозно отработала трюк выскальзывания из покровов непосредственно под одеяло. Секс всегда происходил в полной темноте и завершался обратным маневром. Она придумала широкие шифоновые ночные рубашки с искусно вшитыми бюстгальтерами телесного цвета. «Уютно поспать» с любимым тоже было непросто. Чем больше росла слава совершенного идола, тем меньше становилась сфера обычной жизни. Любовные связи Марлен не относились к разделу «обычной» жизни. Каждый любовник исполнял определенную роль в романтических фантазиях Марлен. Она разыгрывала сценарий, о котором партнер не подозревал, пребывая в уверенности, что лишь ему одному принадлежит ее сердце.

По мере того как росла вера Дитрих в исключительность собственной персоны, она все резче ощущала пропасть между собой и миром обычных людей, возмущалась их повальной некрасивостью.

«Поглядите, сколько в мире безобразных личностей! Неудивительно, что нам столько платят!» — скривилась она, разглядывая лица зрителей в кинотеатре и имея в виду пропасть, разделявшую «народонаселение» и богинь экрана.

Однажды Марлен подхватила титул, данный ей кем-то из журналистов в потоке неумных восхищений. Подхватила и присвоила навсегда, будто прошла на выборах всемирного голосования:

«Марлен Дитрих — Королева мира».

Неуклюжий зеленый «роллс-ройс» больше не соответствовал статусу Марлен.

Разумеется, она лучше всех знала, каким должен быть автомобиль, и руководила знаменитым дизайнером Фишером в процессе всей работы. Новый «кадиллак» был спроектирован и собран под личным руководством звезды. Это случилось задолго до появления удлиненных лимузинов, и ни один гараж в Европе или Америке не мог вместить гиганта с огромным багажником и отдельной водительской кабиной. Такая конструкция не была пустой причудой, ведь путешествовала Марлен в сопровождении четырех десятков чемоданов размером со шкаф, а в салоне часто велись разговоры, вовсе не предназначенные для ушей шофера.

Фон Штернберг, отснявший четыре фильма с Дитрих, оговоренные в контракте с «Парамаунтом», пребывал в долгом путешествии. Он надеялся в дальних странствиях исцелиться от чар Марлен. Джозеф понимал, что его зависимость от Марлен похожа на наркотическую, и ненавидел свою унижительную слабость. Он отлично понимал, что потерпел фиаско и как любовник, и как художник. Критики все отчаяннее ругали его, и руководство «Парамаунта» намекало на то, что неплохо было бы передать Дитрих в другие руки. В самом деле фон Штернберг, сделавший поначалу заявку как неординарный, крупный мастер, стал создателем кассовых лент, возмущавших знатоков кино заигрыванием со вкусами толпы. Стремлением посвятить весь свой талант созданию кумира миллионов он изменил принципам серьезного кино и, как многие полагали, загубил свой дар. Надо было спасаться.

Вернувшись в Америку, фон Штернберг нанес визит Дитрих, дабы сообщить ей о распоряжении студии сменить режиссера для звезды. Конечно, он ни за что не подчинился бы никаким уговорам или приказам, если бы сам жестко и определенно не решил оставить Марлен.

Джозеф был подавлен и тверд. Она, с застывшим лицом каменной статуи, приготовилась выслушать ультиматум.

— «Парамаунт» решил дать тебе другого режиссера. Ты должна сниматься в следующем фильме

«Песнь песней», и я советую выбрать Рубена Мамуляна. Это джентльмен, к тому же перспективный и талантливый режиссер.

Удивленный взгляд Марлен впился в его лицо. Она все еще не верила, что Джозеф принял решение и эпохе их содружества пришел конец. Она молчала и ждала.

— Если ты будешь деликатно направлять его, может получиться вполне приемлемо. И уж, вне всякого сомнения, ты выйдешь прекрасно, поскольку Мамулян использует мою систему освещения. — Бросив на нее последний взгляд, фон Штернберг вышел. Наклонив голову, Марлен медленно ступила на винтовую лестницу. Ни слова упрека — скорбь и смирение. В черные лаковые перила впилась ее побелевшие от напряжения пальцы.

## 18

Начало съемок нового фильма знаменовалось ритуалом подношения цветов. Из лучшего цветочного магазина Беверли-Хиллз прибывали длинные белые коробки с цветами от студии и партнеров звезд. Алые розы на метровых стеблях прислал Мамулян. Он еще не знал, что Марлен выбрасывает розы, предпочитая обставлять свои покои избранными сортами цветов — сиренью, ландышами, туберозами.

К восьми утра все было готово к началу первого съемочного дня. В гримерной, сидя под феном, Марлен знакомилась с текстом готовящейся сцены. Ранее ей не приходилось читать сценарии. Фон Штернберг писал условный текст для представления студийным боссам, на площадке же творил в порыве импровизации. В необходимый момент он сообщал Марлен, что она должна произнести, как, на какой отметине пола и в сопровождении какого именно жеста. Ее потрясающая дисциплина гарантировала выполнение указаний с точностью до одного дюйма.

Актер всего лишь инструмент в руках режиссера. «Хочешь играть — иди в театр», — считала она.

Завершив грим и костюм, Марлен отправилась на площадку, где ее уже ждал всемирно известный символ Голливуда — режиссерский стул с ее именем на полотняной спинке — персональное сиденье, которое не полагалось занимать никому другому. В тени стоял высокий красавец — партнер Марлен, прибывший из Лондона. Брайан Эхерн — известный английский театральный актер с обликом и манерами истинного джентльмена — играл на родине в шекспировских спектаклях, и это говорило о многом.

Рубен Мамулян — хороший театральный режиссер, не проявил себя мастером в кино. Истинный джентльмен, отличавшийся поразительной медлительностью, он тихо поздоровался с явившейся звездой и увидел недоумение на ее лице, застывшем под слоем безупречного грима.

— Что-то не так, миссис Дитрих?

— Позвольте. — Марлен еще раз осмотрела съемочную площадку. — Я не вижу моего зеркала!

Мамулян медленно повернул крупную голову, рядом возник помреж.

— Зеркало миссис Дитрих, где оно?

— Зеркало миссис Дитрих?... Боюсь, не знаю, сэр.

— Найдите его немедленно... пожалуйста.

Помреж исчез, и вскоре раздался страшный грохот — на специальной тележке рабочие везли огромное зеркало Дитрих, за которым волочились провода подсветки.

Мамулян, ожидавший увидеть обычное зеркало, открыл рот, но промолчал.

Электрики включили зеркало и, следуя указаниям миссис Дитрих, установили его так, чтобы она в любой момент могла видеть себя именно так, как видит камера. Съемки начались.



Марлен проявляла безупречную дисциплинированность, но к пятому дублю она воздела руки к висящему микрофону и выдохнула трагический вопль:

— Джо, где ты?!

Потрясенная съемочная группа затаила дыхание.

Сцену отсняли, Мамулян был доволен, но Марлен стало ясно: он загубит фильм. Зарезервировав для себя один из частных просмотровых залов, она внимательно изучила «Марокко» и «Шанхайский экспресс». Она смотрела на свое экранное изображение как на некое совершенное произведение, созданное непревзойденным мастером. Марлен не могла допустить, чтобы идеал был разрушен неумелой рукой, и заново изучала использованные фон Штернбергом приемы. Сейчас надо было браться за дело самой.

На следующий день, выйдя на съемочную площадку, она прежде всего внимательно изучила верхнюю осветительную решетку, пересчитывая лампы и оценивая их расположение. Группа техников затаила дыхание — миссис Дитрих явно брала на себя слишком много. Никто из актеров не позволял себе вмешиваться в работу специалистов.

Марлен взглянула через плечо на свое отражение в зеркале, быстро оглядела съемочную группу, стоящую толпой у тележки с камерой, затем перевела взгляд на поднявшегося со своего стула Мамуляна.

— Я внесу кое-какие коррективы. С вашего разрешения, мистер Мамулян...

Глядя в зеркало, она уловила момент, когда надо было закрепить световой блок.

Затем перешла к лампам, висящим на отдельных стойках, и к самым сильным софитам. Она уменьшала накал, затем медленно увеличивала его, передвигала стойки. Начали появляться тени, очертания предметов стали объемней, отчетливей. Люди с уважением следовали ее распоряжениям. Она вновь взглянула на свое отражение, нашла точный наклон головы, зафиксировала на лице восхитительную неподвижность и посмотрела прямо в объектив камеры на Мамуляна во всей своей сверкающей красоте. Он почтительно опустил объектив и сказал, забыв о сдержанности:

— Прекрасно, Марлен, в высшей степени прекрасно.

Повернувшись к людям, стоявшим за пределами освещенной площадки, Марлен подняла руки и выдохнула:

— Спасибо, джентльмены.

Съемочная группа зааплодировала актрисе.

— Марлен, вы потрясли меня. — Подойдя к ней, Брайан Эхерн галантно поцеловал руку. — Вы — уникальная женщина.

Роман разгорелся сразу же и продолжался многие годы: Марлен предпочитала сохранять интересных поклонников.

В характере Марлен совмещалось несовместимое — дисциплина, расчетливость в поступках и полное пренебрежение к деньгам. Они радовали ее своим количеством и возможностью приобретать все желаемое без оглядки на мелкие подсчеты. Дитрих тратила все до цента, никогда не сэкономила и не копила денег.

По завершению фильма по сложившемуся обычаю группа устраивала пирушку. Ведущие актеры, как правило, преподносили остальным подарки. В этом ритуале Дитрих всегда лидировала, изобретая и щедро раздаривая вовсе не пустячные сувениры. Двадцатидолларовые золотые монеты со вставленными внутрь тончайшими часами, золотые наручные часы «Патек-Филипп» с ремешками из крокодиловой кожи сопровождалась непременно выгравированной надписью и ее уникальной подписью. Золоченые портсигары и драгоценные запонки, бумажники с золочеными уголками, золотые зажигалки — всем предназначались подарки по шкале заслуг. Женщины получали клипсы от Картье, наиболее важные с бриллиантами, менее — с сапфирами и рубинами. Далее шли сумочки, шарфы, духи. Никто не оставался без внимания. Она была по-настоящему щедрой. Разве кому-то хоть в чем-то удавалось перещеголять великую Марлен?

Однако ее широта в одаривании всех вокруг, ее щедрость по отношению к обслуживающему персоналу не имели ничего общего с великодушием. Инстинкт

расчетливой немки подсказывал Марлен, как обеспечить надежные тылы — молчаливую, исполнительную прислугу, благодарных поклонников, всегда готовых ответить с лихвой на ее щедрый жест.

Дитрих по-прежнему рвалась в Европу, но муж категорически не советовал ей ехать в Германию, где с каждым годом обстановка становилась все более напряженной. Сам он нашел работу на парижской киностудии. Марлен с радостью согласилась посетить любимый город до начала нового контракта с Голливудом и отбыла с дочерью на роскошном пароходе «Европа».

Фон Штернберг вернулся в Америку из очередного путешествия и, бегло просмотрев смонтированный материал Мамуляна, пришел в восторг: фильм был обречен на провал, а значит — Марлен нуждается в нем! Увы, Джозефу пока не удалось избавиться от своей зависимости — жизнь без Марлен теряла смысл. На борту «Европы» Марлен получила от него телеграмму. Фон Штернберг молил Дитрих сыграть главную роль в его новом фильме.

«Возлюбленная богиня, всё снова так пусто, и я сгораю страстью к тебе, и люблю. Пожалуйста, прости меня за все мои глупости, все мои мысли только о тебе...» — кричал через океан своей богине несчастный влюбленный фон Штернберг. Впрочем подобные жаркие стенания стай телеграмм догоняли Марлен в пути — от Шевалье, Брайана, Рубена Мамуляна, Белого принца и, конечно, от ждущего в Париже мужа.

«Песнь песней» не имела зрительского успеха, Мамулян явно перестарался в изображении историзма и оказался беспомощен как кинорежиссер. Но Марлен не печалилась — она не сомневалась в собственной власти над публикой.

## 19

Поездка в Европу оказалась плодотворной. По договору с французской студией грамзаписи Марлен записала диск. Кроме песен, исполнявшихся ею в фильмах, появились новые, написанные специально для нее и в тесном с ней сотрудничестве.

Дитрих удалось произвести фурор в парижских домах моды закупкой колоссального гардероба и вызвать бурный скандал в прессе своим шокирующим появлением в костюмах мужского покроя. Ей грозили чуть ли не арестом, но Марлен лишь усмехалась — она знала, чего стоят раздутые прессой скандалы: шумиха лишь добавляла блеска звезде ее масштаба. Кроме того, в Вене она воспылала страстью к красавцу тенору оперной сцены Гансу Яраю. Роман разворачивался на высшем уровне, в соответствующих запросам миссис Дитрих декорациях — с огненными письмами, жаркими встречами, охапками цветов, эффектными ужинами и выходами в свет. Рядом — в качестве советчиков и ближайших наперсников — находились муж и дочь.

Из Европы Дитрих возвращалась в Америку на пароходе «Иль де Франс» — шикарном лайнере высшего класса, завоевавшем титул плавучего дворца. Здесь весной 1934 года произошла знаменательная встреча: на пути Марлен оказался один из тех мужчин, которых она считала равными себе по масштабам. На борту парохода миссис Дитрих получила приглашение на один из постоянно проводившихся здесь банкетов и дала согласие, поскольку среди гостей был автор нашумевшего романа «Прощай, оружие!», экранизированного в Голливуде. Эрнест Хемингуэй возвращался в Америку со своего первого сафари.

Марлен выбрала узкое длинное золотое платье, перстень и браслет с изумрудами. Браслет поражал воображение — в золотом обруче сидел камень формы кабошон величиной с яйцо.

«Неплохо, Марлен! Совсем неплохо», — одобрила она свое отражение в зеркале. Сегодня надо блистать не только телом, но и умом. Марлен отлично знала прямую взаимосвязь удачного туалета с активностью интеллекта. «Я сегодня глупа, потому что плохо одета» — эта фраза не для Марлен. Никогда и ни при каких обстоятельствах не

допускать ни малейшего изъяна в картине внешнего совершенства. Она постоянно ощущала себя центром восторженного внимания, живой легендой и понимала, что каждым своим шагом вписывает в историю ярчайшую страницу. А для этого надо было всегда находиться в наилучшей форме. Хемингуэй оценил величие Марлен, ее стиль, манеры, остроумные реплики, составлявшие букет редкого шарма.

По словам самой Дитрих, ее встреча с писателем произошла при весьма эффектных обстоятельствах. Надо лишь отметить, что она отличалась мастерством сочинителя, выстраивая эпизоды собственной биографии в соответствии с законами голливудских сценариев, и сама верила в них. Зачем скупиться на краски, когда можно выписать сцену ярко, драматично, наделив ее изюминкой одной Марлен подвластного чуда?

«Энн Уорнер — жена всемогущего продюсера Джека Уорнера — давала прием, и я была в числе приглашенных. Войдя в зал, я мгновенно заметила, что за столом двенадцать персон. Я сказала: «Прошу извинить меня, но я не могу сесть за стол — нас окажется тринадцать, а я суеверная». Вдруг внезапно передо мной возникла могучая фигура: «Прошу садиться, я буду четырнадцатым!» Пристально рассматривая этого большого человека, я спросила: «Кто вы?» Теперь можно судить, как я была глупа...

Итак, все в порядке: за столом нас теперь четырнадцать. Ужин был сервирован так роскошно, будто мы в Париже у «Максима». В конце ужина большой человек взял меня под руку и проводил до дверей моей каюты.

Я полюбила его с первого взгляда. Любовь моя была возвышенной и платонической, что бы люди ни говорили на этот счет. Я подчеркиваю это, потому что любовь между Эрнестом Хемингуэем и мною была чистой, безграничной — такой, наверное, уже и не бывает в мире. Наша любовь продолжалась много, много лет, без надежды и желаний. По-видимому, нас связывала полная безнадежность, которую испытывали мы оба».

В самом деле, эта встреча стала началом странной, почти идеальной любви-дружбы, любви-восхищения, продолжавшейся около тридцати лет. В ней не было ревности, требований и обязательств. Не было и плотской связи. Они никогда не имели возможности видаться подолгу; к тому же, как правило, либо его сердце было занято какой-нибудь дамой, либо Марлен была погружена в очередное увлечение.

Дитрих, чрезвычайно высоко ценившая книги Хемингуэя, умела окутывать своего кумира волнами восхищения. Он не переставал удивляться ее красоте, таланту, уму. Она называла его Папой, а он ее Капустой или Дочкой. Она считала Эрнеста своим лучшим другом и поддерживала с ним непрерывную связь, советуясь даже по поводу фасона новой шубы. Основными средствами связи были письма и телефон: они разговаривали часами. Дитрих с особенной нежностью вспоминает, что великий Хэм умел не только раздеть ее по телефону, но и делать с ней «все», доставляя такое удовольствие, какое мало кому удавалось даже во плоти. Хемингуэй свидетельствовал, что Дитрих «была способна уничтожить любую соперницу, даже не посмотрев в ее сторону. Однако странный в наши дни кодекс чести запрещал ей отбивать возлюбленного у другой женщины до тех пор, пока та действительно желала его».

Однажды, уже в годы войны, они случайно столкнулись в Париже. Хемингуэй рассказал Марлен, что страстно влюблен, и стал умолять ее поговорить с его избранницей, предложить от его лица руку и сердце. Без колебаний надев брюки и фрак, Дитрих разыграла перед Мэри Уэлш страстную любовную сцену. От имени Хемингуэя. Мэри была так потрясена, что к вечеру дала согласие выйти замуж за писателя.

Впоследствии Мэри Хемингуэй, ревнуя мужа ко всем женщинам, исключала из круга подозреваемых Дитрих. После его самоубийства вдова даже позволила опубликовать любовные письма Эрнеста к Марлен. «Я забываю о тебе иногда, — писал ей Хемингуэй, — как забываю, что бьется мое сердце».

Пока Марлен с семейством путешествовала по Европе, крутила бурный роман с Гансом Яраем, пока записывала песни для французской студии грамзаписи и играла в сельскую идиллию в приобретенном домике в Альпах, фон Штернберг заваливал ее письмами с объяснениями замысла нового фильма, на который он делал ставку. Роль Екатерины Великой в фильме «Красная (или, точнее, «Кровавая») императрица» должна была, по замыслу фон Штернберга, стать прорывом Марлен и его самого в верхи кинематографического олимпа: ведь у Королевы мира не было ни одного «Оскара».

В Америке Джозеф встретил Марлен с подарком: «роллс-ройс»-кабриолет с шофером ждал хозяйку у нового дома.

Огромную усадьбу в районе Бель-Эйр — самом престижном месте обитания голливудских суперзвезд — окружал высокий металлический забор со сторожевыми башнями. Длинная дорога вела на верхушку холма, где возвышалась вилла блистательной кинозвезды 30-х годов Колин Мур, принадлежавшая теперь миссис Дитрих. Архитектор воссоздал Мексику в миниатюре — обилие терракотовой черепицы, прохладные мраморные плитки пола, множество ваз и ажурных перил. Дом окружала крытая галерея, на которой стояли плетеные шезлонги и кушетки. Под банановыми пальмами располагался миниатюрный кинотеатр.

Бегло осмотрев владения, Дитрих приступила к обязательной процедуре, которую собственноручно проделывала даже в самых высококлассных отелях, — дезинфекции унитазов. Звезда никогда не пользовалась ресторанными и прочими общественными туалетами и постоянно возила с собой бутылки со спиртом, поскольку была убеждена, что через соприкосновение с унитазом может произойти заражение сифилисом.

— Любимая, я хочу пригласить какого-нибудь неизвестного актера на роль графа Алексея. — Сидя на террасе, Джозеф делал зарисовки к оформлению будущего фильма.

— Кого-кого? — не поняла Марлен, завершившая процедуру дезинфекции.

— Графа Алексея, сопровождающего графиню Софью Фредерику в Россию. Я давал тебе прочесть дневники Екатерины Великой и просил хоть немного поинтересоваться историей России. Граф влюбляется в юную графиню. Ты хоть это помнишь? — Фон Штернберг захлопнул блокнот. — Я придумал невероятно эффектную роль для тебя. Это вообще должен быть серьезный фильм.

— Понимаю — Екатерина не поет в варьете! — Улыбнувшись, Марлен заглянула в глаза Джозефа. — Но она все же шлюха, верно, любимый?

— Это будет роскошная костюмная мелодрама об Анхальт-Цербстской принцессе, будущей российской самодержице Екатерине Великой. Представляешь — сыграть путь героини от наивной провинциальной девочки до упоенной властью сластолюбивой авантюристки.

— Значит, все же шлюха и авантюристка. Это по мне.

— Юная принцесса Софья приезжает в Россию, чтобы выйти замуж за сына императрицы Елизаветы Петровны, слабоумного цесаревича Петра. Браком с немецкой принцессой императрица надеялась улучшить царскую кровь. Софья не испытывает любви к своему мужу, но влюбляется в Россию и...

— В кого там еще? В этого самого графа Алексея?

— Алексей равнодушен к ней, а она — к русским солдатам. После смерти императрицы Софья организует государственный переворот, при помощи преданных ей братьев Орловых сбрасывает с трона мужа и становится императрицей Екатериной, полновластной владычицей России.

— По-моему, здесь есть где разгуляться! «Кровавая императрица»!

— О, любовь моя! Россия — страна грешников и праведников, юродивых и титанов. И потом — это клад для художника. Я сам делаю эскизы декораций, они должны передавать атмосферу русского двора. Вот посмотри наброски.

Марлен взяла альбом. Ее брови удивленно поднялись.

— Интересно, — сказала она. — На экране будет выглядеть совершенно роскошно.

Царский дворец в воображении фон Штернберга представлял собой мрачную обитель, словно населенную призраками. Двери и стены покоев покрывали барельефы на библейские сюжеты, выполненные из эмали и золота, отовсюду смотрели скульптуры изможденных мрачных людей с паучьими конечностями. Они обвивали спинки банкетных кресел, поддерживали зеркала, образовывали процессию со свечами в руках, шествующую в темноту. Да, Джозеф явно задумал творить большое искусство и, кажется, перестарался с нагнетанием трагической атмосферы.

Декорации привели Дитрих в уныние, но она предпочла не набрасываться с критикой. Марлен знала, что оформление фон Штернберга не сможет затмить ее Екатерину.

Костюмы, сделанные в тесном соавторстве с Тревисом, получились великолепными. Кружевное свадебное платье императрицы, жемчужный кокошник над высоким лбом и огромные, вполлица глаза потрясли воображение. Не менее эффектным стал костюм императрицы для смотра войск — с длинной накидкой из серебристого соболя. Дополненный придуманной Марлен высокой папахой, туалет настолько вдохновлял актрису, что сыгранный в нем эпизод вошел в анналы киноклассики.

...На съемочной площадке все было готово к ударной сцене: Екатерина Великая на зимнем плацу принимает смотр войск. Шеренга высоких, одинаково красивых мужчин замерла по стойке смирно. Фон Штернберг, сидящий на съемочном подъемнике, скомандовал: мотор!

Марлен в гвардейском мундире под соболиной накидкой, в высокой папахе на гладко зачесанных волосах явилась перед строем. Слегка наклонив голову набок, покусывая соломинку чувственными губами, она осматривала шеренгу своих фаворитов, медленно поднимая и опуская взгляд. Шапка и спрятанные под ней волосы делали ее похожей на красивого юношу, а опущенные ресницы скрывали бездны греховных страстей.

Совершенно неосознанно Марлен привнесла в изображаемый образ особый оттенок бисексуального эротизма задолго до того, как эта тема стала допустима в искусстве. Ее фотопортрет в высокой меховой кубанке был растиражирован на афишах фильма.

Фон Штернберг, считавший «Кровавую императрицу» значительным шагом в своей режиссерской карьере, сам дирижировал оркестром и написал мелодию для скрипки, прозвучавшую в фильме.

Окончание съемок отмечали в декорациях царского банкетного зала. Марлен одарила всех своими экстравагантными подарками. В завершение церемонии дарения она вытащила на середину зала скрывавшегося в уголке фон Штернберга.

— Моему повелителю, единственному мужчине, который может сделать меня красивой, гению, который ведет меня за собой, — моя благодарность. — Наклонившись, Марлен почтительно поцеловала его руку, на которой было подаренное ею обручальное кольцо.

Ошибочно было бы полагать, что лишь один Джозеф удостоился обменяться со своей замужней возлюбленной обручальными кольцами. Дитрих собрала целую коллекцию обручальных колец, хранившуюся в шкатулке для шитья и безделушек. Вероятно, со всеми мужчинами и женщинами, связанными с нею лирическими отношениями, она проходила тайную церемонию обручения. В ее коллекции были кольца с бриллиантами, с памятными гравировками. От Шевалье было принято кольцо с большим круглым изумрудом, положившее начало привязанности Марлен к этим камням.

«Кровавая императрица» получила разгромные рецензии — замысел режиссера опередил время. Лишь много позже фильм был признан критиками лучшим фильмом фон Штернберга с Дитрих, несмотря на изобилие «клюквы» в изображении российского двора. По достоинству будет оценена и работа фон Штернберга-художника, прозревшего и

зафиксировавшего в облике изможденных деревянных людей грядущую катастрофу концлагерей.

Марлен же плохие рецензии не огорчили: она презирала критиков. А зрители — зрители поклонялись ей.

## 21

Фон Штернберг готовился к новому фильму с Дитрих в главной роли, взяв за основу сценария роман французского писателя «Женщина и паяц». Руководство «Парамаунта» не устроило это название, и будущий фильм стал называться довольно комично: «Дьявол — это женщина», несмотря на драматический сюжет. Марлен играла испанку Кончу, и проблема черных волос и черных глаз более прочего заботила ее. Но фантазия Марлен и мастерство Штернберга победили. Черный парик с красными гвоздиками, дуги разлетающихся бровей и темные горящие очи, созданные искусной подсветкой, изменили ее облик — именно в этом фильме Марлен нравилась себе больше всего и только его пожелала иметь дома.

Для фон Штернберга, взявшего на себя в этой работе и миссию оператора, фильм стал объяснением в любви к Испании и ее обычаям. Кроме того — это был подарок Марлен. На этот раз, в самом деле, прощальный.

Героиня Дитрих — Конча — впервые появляется на экране чрезвычайно эффектно. Она стоит в повозке, прокладывая путь через пеструю карнавальную толпу, ее лицо скрыто букетом цветов и связкой воздушных шаров. Чтобы привлечь внимание красавицы, один из участников карнавала стреляет по шару из рогатки.

Стрелял по колеблющемуся у самого лица Марлен шару сам Штернберг из своего пневматического ружья. Когда сцена была отснята, он прицелился и расстрелял все остальные воздушные шары и, по его признанию, тем самым открыл одно из самых волшебных лиц в истории.

— Ты промахнулся, Джо. — Марлен сошла с коляски, опираясь на поданную фон Штернбергом руку. — Ведь наверняка метил в меня. Кому нужна одноглазая звезда? А может, мой Пигмалион решил наконец покончить с Галатеей?

— Ты была великолепна, любимая. Моя камера не зафиксировала ни трепета ресниц, ни малейшей дрожи в ослепительной улыбке, когда погиб первый шар. И тогда я... — фон Штернберг мальчишески улыбнулся, — тогда я дерзнул продолжить стрельбу! Любая другая актриса тряслась бы от страха. Ты необыкновенная женщина, Марлен!

— Я доверила тебе свою славу — безоговорочно и навсегда. Чего же беспокоиться о таком пустяке, как жизнь?

Едва фильм был завершен, по всему миру поднялся шум, что пора освободить чудесную актрису из когтей режиссера-деспота. Марлен уже не воспринимали как музу фон Штернберга, созданную его мастерством. Многие полагали, что у другого режиссера дивная актриса проявила бы себя куда ярче. Фон Штернберга обвиняли в том, что он сдерживает темперамент Дитрих, замедляя ритм сцен и лишая ее подвижности. Его просили отпустить Марлен, да он и сам был готов к разрыву.

Фон Штернберг чувствовал, что достиг вершины в изображении своей богини и что его терпение по отношению к ее многочисленным связям иссякло. Он почти научился не замечать образ жизни Марлен, но мелочи доводили его до иступления. Во время съемок «Кровавой императрицы» он засыпал Марлен жаркими посланиями, которые через улицу носили курьеры. Потом листки его писем валялись по всему дому среди фотографий и пепельниц вместе с другими, не менее страстными, открытые для всех желающих их прочесть. Джозеф давно сумел понять, что Марлен не пылкая любовница, не сексуальная богиня, созданная его камерой. Но столь явное пренебрежение его возвышенными чувствами было оскорбительно. Легко проигрывающая сюжеты своих влюбленностей, Марлен искренне не могла понять ревности фон Штернберга.

«Папи, неужели надо быть таким мелочным, чтобы обращать внимание на пустяки? — жаловалась она в письме к мужу. — И почему они все так усложняют. Папи? Почему они все не как ты?»

Джозеф заявил руководству студии, что больше не будет снимать фильмы с Дитрих.

— Опять бросаешь меня на растерзание бездарностям... — Марлен стояла перед ним неподвижная, как воплощение упрека, и смотрела в глаза.

— Я устал, возлюбленная, пожалуйста, пойми меня. Ты всегда была моей музой. — Джозеф отвел взгляд, опасаясь, что снова не выдержит гипнотической атаки Марлен.

— Так почему ты бежишь от меня?

— Если ты сама не знаешь ответа на этот вопрос, мне нет смысла пытаться объяснить его тебе.

Вскоре новость обошла газеты.

«Мы с Дитрих дошли до конца своего совместного пути, — заявил фон Штернберг журналистам. — Все, что можно было сказать о миссис Дитрих, сказала моя камера».

Премьера фильма «Дьявол — это женщина» состоялась лишь в 1959 году на фестивале в Венеции. Все эти годы он был запрещен испанским правительством за неправильное изображение национальной гвардии. Лишь в 1961 году ограниченное число копий было передано в мировой прокат.

## 22

В Голливуд стали прибывать актеры, эмигрировавшие из нацистской Германии. Марлен организовала поддержку эмигрантам, лично возила им сытные обеды, снабжала лекарствами. Гитлер стал для Дитрих, имевшей германское гражданство, символом тирании и всепоглощающего зла. Она же была для Третьего рейха желанной добычей.

Курьер германского консульства в Лос-Анджелесе доставил миссис Дитрих копию редакционной статьи, появившейся в ведущих немецких газетах по личному распоряжению министра пропаганды Третьего рейха доктора Геббельса.

«Аплодисменты Марлен Дитрих! Она наконец отказалась от режиссера-еврея Джозефа Штернберга, у которого всегда играла проституток и падших созданий».

...Теперь Марлен должна вернуться в родное отечество, принять на себя историческую роль лидера германской киноиндустрии и перестать служить орудием в руках голливудских евреев!»

Рудольф Зибер и агент Дитрих обсудили положение, и вскоре была созвана пресс-конференция, на которой было объявлено, что миссис Дитрих просит американского гражданства, дабы навсегда порвать связи с Германией.

Участь Дитрих была решена, через пять лет, в 1939 году, она получит американский паспорт и станет гражданкой США.

Много времени спустя, когда уже бушевала Вторая мировая война, актриса блестяще разыграла сценку самопожертвования на одном из голливудских приемов. «Кто знает, — произнесла она задумчиво перед множеством избранных гостей, — может, мне и следовало принять то предложение?» И когда наступила мертвая тишина, а на всех лицах читался безмолвный вопрос: «Зачем?!», она произнесла: «Может, я бы смогла отговорить его от этого!». Кого? От чего? «Да Адольфа же, конечно, — от аннексии Австрии и Чехословакии, нападения на Польшу, агрессии против СССР...»

Марлен не раз обыгрывала весьма лестное для нее внимание нацистов и свой героический отказ сотрудничать с ними.

«Может быть, я должна была принять это предложение? — говорила она Билли Уайльдеру. — Возможно, тогда и Германия оказалась бы другой. Я смогла бы убедить Гитлера изменить эту ужасную политику. Тогда Европа не лежала бы в руинах и миллионы людей остались бы живы. Не стоит недооценивать силу женщины, особенно в постели».

В своей автобиографии она напишет: «Я ненавидела с 1933-й по 1945-й. Трудно жить ненавистью. Но если этого требуют обстоятельства, приходится учиться ненавидеть».

Так дочь прусского офицера Марлен Дитрих оказалась в лагере антифашистов, а самой злой характеристикой человека на всю жизнь для нее станет слово «нацист».

## 23

В 1936 году Марлен снялась в фильмах «Желание» режиссера Френка Борзеджа и «Сад Аллаха» режиссера Девида Слезника — первой цветной ленте. Она, как и прежде, с пылкостью работала над костюмами. Но это не спасло фильм, съемки которого в пустыне штата Аризона, а затем в павильоне сопровождались невыносимыми затратами, постоянными курьезами и породили кучу анекдотов. Правда, Марлен удалось отстоять право на костюмы в пастельных тонах, соответствующих колориту пустыни. Ее тело, облаченное в золотистый шифон, напоминало статую Ники, устремленной к полету.

1 апреля 1937 года «Сад Аллаха» посмотрел Эрих Ремарк, но не обмолвился в своем дневнике о произведенном впечатлении. Только потом, в романе «Триумфальная арка», он вспомнит о Нике, слившейся с образом его возлюбленной.

Марлен наслаждалась жизнью, являясь на голливудские приемы в потрясающих туалетах, каждый из которых удостоивался подробного описания в светской хронике. На один из костюмированных балов она прибыла в костюме Леды, созданном в порыве вдохновения вместе с Тревисом. Марлен-Леда стала сенсацией вечера. Уложенные на манер причесок греческих статуй волосы плотно обрамляли бледное лицо. Глаза, окруженные изумрудными стразами, горели фантастическим огнем. Тело Леды страстно обнимала птица из крахмаленного шифона, обшитого лебединым пухом. Голова лебедя покоилась на открытой груди Марлен, и даже те, кто не знал мифа о Леде и Лебеде, не мог сомневаться насчет пылкости чувств, сливших эту пару. Леду сопровождала актриса Элизабет Аллан в белом смокинге и атласном цилиндре, представлявшая как бы саму Марлен Дитрих.

Увлечения Марлен сменялись с калейдоскопической быстротой, и столь же быстро снимались фильмы. Марлен снялась в еще нескольких незначительных лентах, а в 1937-м разразилась нежданная гроза.

Некий владелец кинотеатров Брандт сделал во всех американских газетах заявление: «Следующие актеры и актрисы — кассовая отравка». Далее, набранный жирным шрифтом, шел длинный список, в который вошли, кроме прочих, и Гарбо, и Хепберн, и Дитрих.

Жестокий приговор, однако, не означал, что именно перечисленные актеры наносят ущерб кассе. Дело заключалось в том, что прокатчик, покупающий фильм с участием звезды, должен был взять в нагрузку еще несколько средних или совсем плохих фильмов этой киностудии. А уж если и фильм со звездой не слишком удачен?

Так или иначе, заявление Брандта вызвало громкий резонанс, и «Парамаунт» не подписал новый контракт с Дитрих. Конечно, она могла бы принять предложение других студий, но предпочла отдохнуть. Тем более что ее кавалер Дуглас Фербенкс-младший проводил отпуск в Европе.

## **«Скажи, что любишь меня!», или «Люби меня...»**

### 1

Сентябрь в Венеции — время утонченной печали и внезапно прорывающегося ликования. Все зависит от движения туч. Мгновение назад темные под сумрачным небосводом каналы и палаццо вспыхивают в лучах прорвавшегося солнца с неудержимой, карнавальная радостью. Каскады солнца сверкают в мокрых от дождя плитах площадей,



плещутся с голубями в зеркальных лужах. Это еще и кинофестиваль, собирающий знатоков кино, звезд и светское общество. Сюда приехал уставший от работы и от жизни фон Штернберг. В Париже оказалась путешествующая по Европе с семьей Марлен. Они договорились о встрече в Венеции — вспомнить былое, обсудить настоящее и, кто знает, помечтать о будущем.

К ужину с Джозефом в ресторане «Лидо» Марлен, как всегда, готовилась с полной ответственностью, вписывая еще одну страницу в «историю легенды». Черное облегчающее платье из тяжелого крепа, немного четырехкартанных бриллиантов, атласный мех смоляного свободного жакета и фетровая шляпка, чуть боком сидящая на блестящих, тщательно уложенных волосах. Шляпка совсем простая, но чрезвычайно эффектная — от лучшего парижского мастера. Марлен принадлежала к категории женщин лаконичной стильности, когда четко выписанный образ таит в себе больше, чем заявляет в открытую.

Столик Джо и Марлен находился в углу — она терпеть не могла, когда на нее сворачивали шеи в ресторанах, но краем глаза подмечала наиболее интересных персон и производимое ею впечатление.

Из-под полуопущенных век и бокала с шампанским Марлен отметила элегантного мужчину, одиноко сидящего у окна за бутылкой вина. Он курил, изящно поднося узкую кисть с сигаретой к великолепно очерченным губам. Веки при этом опускались, скрывая сумрачный блеск зорких глаз. Казалось, он пребывал в глубокой задумчивости, слушая некую, звучащую внутри музыку.

Давнее воспоминание шевельнулось в памяти Марлен, но не выплыло на поверхность. Он повернул голову с ястребиным носом, их глаза встретились.

— Джозеф, где я могла видеть вон того мужчину у окна?

— Где угодно, любовь моя. Это Эрих Мария Ремарк, его нашумевшую повесть «На Западном фронте без перемен» экранизировали в Голливуде в 1930 году. Фильм получил «Оскара».

— Режиссер, кажется, был довольно молодым и тоже отхватил премию, — заметила Марлен, продолжая изподволь наблюдать за писателем.

— Фильм сделал Лев Мильштейн, говорят, он из России, работает в США под именем Льюис Майлстоун. Ты даже сказала, что видела фильм и он тебе понравился.

— Еще больше понравился роман, я читала его на немецком. — Марлен открыто взглянула на Ремарка. — А он настоящий писатель.

Словно повинувшись ее взгляду, мужчина приблизился к их столику.

— Господин фон Штернберг? Мадам? — Тонкие черты лица, чувственный рот. Глаза хищной птицы наполнились огнем, когда он склонился к ней. — Позвольте представиться, я — Эрих Мария Ремарк.

Дитрих протянула ему руку, Ремарк учтиво поцеловал ее. Марлен слегка улыбнулась и кивком головы предложила ему сесть.

— Вы выглядите слишком молодо, для того чтобы написать одну из самых великих книг нашего времени, — проговорила она, не спуская с него глаз, и достала сигарету из позолоченного портсигара.

— Может быть, я написал ее только для того, чтобы однажды услышать, как вы произносите эти слова своим волшебным голосом. — Щелкнув зажигалкой, он поднес ей огонь. Она прикрыла огонек пламени в его загорелой руке своими тонкими белыми кистями, глубоко втянула сигаретный дым и кончиком языка сбросила с нижней губы крошечку табака...

Фон Штернберг, досконально изучивший повадки мгновенно и бурно влюблявшейся Марлен, тихо удалился.

Они долго танцевали под маленький оркестрик, одни, в полутьме опустевшего зала. Марлен оценила класс партнера, его нежную, но твердо ведущую руку, почувствовала нарастающий жар желания. Неотвратимость сближения становилась очевидной, заманивающей и чем-то пугающей Эриха.

— А почему мы должны сопротивляться? — сказала она, угадав его сомнения. — Я остановилась в отеле поблизости, проводите?

Они вышли в серебристую черноту лунной ночи, нырнули в переулок от ярко освещенной набережной. Марлен запахнула легкий жакет из тонкого нежного меха, с наслаждением вдохнула прохладный, насыщенный морской влагой воздух и подняла лицо. Лунный свет залил ее черты.

— Ночное небо тускло серебрится,  
На всем его чрезмерности печать.  
Мы — далеко, мы с ним не можем слиться, —  
И слишком близко, чтоб о нем не знать.

Последнюю строку произнесла она почти шепотом. Эрих продолжил:

— Звезда упала!.. К ней спешил твой взгляд,  
Загадывай, прося в мгновенья эти!  
Чему бывать, чему не быть на свете?  
И кто виновен? Кто не виноват?...

— ...Чему бывать, чему не быть на свете... — задумчиво повторила Марлен и заглянула в его глаза: — Желание я загадала. Похоже, оно исполняется: Рильке — мой любимый поэт.

Ее «бледное лицо, высокие скулы и широко расставленные глаза. Лицо было застывшим и напоминало маску — лицо, чья открытость уже сама по себе была секретом. Оно ничего не прятало, но и ничего не раскрывало, оно ничего не обещало и обещало все» — эти слова он напишет про Марлен позже, а сейчас лишь проговорил словами Рильке:

— Заключил лицо твое в ладони и затих.  
Струится лунный свет.  
Сокровенней и неизреченней ничего под лунным плачем нет.

Она продолжила:

— День, который словно в пропасть канет,  
В нас восстанет вновь из забвения.  
Нас любое время заарканит, —  
Ибо жаждем бытия...

— У нас получился отличный дуэт! С первого дубля, — Марлен улыбнулась. — Обожаю Рильке.

— Отменный вкус, — заметил Ремарк. — Собственно, какой же еще может быть у вас. Читайте, читайте, пожалуйста, еще, все равно что... Ваш голос...

Марлен вспомнила Гейне. Она чеканила строки в такт стука своих каблучков по брусчатке. Звуки гулко отдавались в узком ущелье спящих домов. Она знала наизусть много стихов.

— Ой! — Марлен покачнулась.

— Каблучки — не лучшая обувь для прогулки по этим камням. — Он поймал ее в объятия, заглядывая в близкое, совсем близкое загадочное лицо. — Когда я смотрю на вас так, вы кажетесь девчонкой. И одновременно... посланницей иной планеты.

— Фон Штернбергу не нравилось, когда я играла с высокими партнерами. Это заставляло меня смотреть на них снизу вверх, в то время как на него, из небольшого роста Джозефа, только сверху вниз... Он знал — так, заглядывая в глаза мужчине, смотрят только

влюбленные женщины... — Марлен потянулась к его губам, как тысячи раз делала перед камерой в сцене поцелуя.

— Это не кино, Марлен. Боюсь, это совсем не кино. — Его губы впились жадным поцелуем. Сорвалась и прочертила небосвод падающая звезда. Они не видели ее, но совершенно точно знали, чего хотят в это мгновение.

Отель, где остановилась Марлен, был похож на маленькое палаццо из декораций к шекспировским «Ромео и Джульетте»: увитые плющом колонны и даже овальный балкончик на втором этаже, перед широким темным окном в обрамлении резного камня.

— Вон там мои апартаменты. — Она показала на балкон, призывно посмотрела на своего спутника и быстро зашагала к подъезду.

Вскоре за плотными шоколадными шторами зажегся свет.

...Марлен в длинном белом атласном халате сидела на краю королевской постели. Ремарк опустил на толстый ковер у ее ног и погрузил лицо в ее ароматные ладони.

— Я безумно влюблен в вас, Марлен. Это как удар молнии. Но... — Он замолчал, сжимая лоб. — Но вы должны знать: я импотент.

— Отлично! Значит, нам ничего не мешает уютно поспать рядом! — воскликнула она с непонятной ему радостью. — Погаси свет и рассказывай... Я должна знать о тебе все. Мы ведь уже на «ты», правда? — Марлен удобно расположилась на кружевных подушках, открыла позолоченный портсигар.

Ремарк выключил бра, оставив лишь лампу на комод, затененную вишневым абажуром из витого муранского стекла, и поднес Марлен горящую зажигалку.

— У тебя было много женщин? — Марлен закурила.

— О!.. — Эрих затаился. — Но сейчас кажется, что рассказывать вовсе не о чем. Все ничто перед ликом твоим...

— Ремарк — французская фамилия.

— Французом был мой прадед, кузнец, родившийся в Пруссии, недалеко от границы с Францией. Женился он на немке. Мой отец был переплетчиком.

— Прадед кузнец, отец переплетчик? Я слышала, ты носишь баронский титул.

— Это смешная история... Видишь ли, я был довольно своеобразным юношей. Амбициозный провинциал — из городка Оснабрюке, парвеню, рвавшийся к признанию. Видимо, мне с детства не хватало ласки. Все перепало моему старшему брату Теодору.

— Бедный малыш... — Склонившись, Марлен обвила руками его шею и поцеловала в щеку. — Ты много испытал. Эта история в твоём военном романе не вымыслена — так написать можно только тогда, когда пережил все сам.

— Я учился в католической королевской семинарии и намеревался стать учителем. Но в 1916-м меня, восемнадцатилетнего пацана, забрали в армию. Наша часть попала в самое пекло, на передовую. Фронтной жизни за три года я хлебнул достаточно, чтобы потом много лет болеть войной и всю оставшуюся жизнь ненавидеть ее...

— Ты на себе притащил в госпиталь смертельно раненного товарища. Это же подвиг! Настоящий подвиг. Ты в самом деле был ранен?

— В руку, ногу и шею.

— Покажи немедленно! — Мален приподнялась.

— Непременно. Потом... — Его губы искривились в горькой усмешке, он совсем не верил, что это «потом» наступит. Он рано и много увлекался женщинами. Последнее время интимные отношения с подругами не складывались: трудный характер, проблемы со спиртным, с потенцией.

— Я долго еще чувствовал себя человеком особой судьбы, — продолжил рассказ Эрих. — После войны повел себя странно, стал носить форму лейтенанта и «железный крест», хотя от награды после увольнения отказался и был всего лишь рядовым. Начал учительствовать в деревенских школах, рисовался, изображал из себя бывалого фронтовика.

— Но ведь это правда! Ты был достоин ордена! В своей книге ты рассказал о войне совершенно пронзительно. Для меня ты — самый главный фронтовой герой. — Марлен знала, что так, возлежащая в золотистой полутени, выглядит невероятно соблазнительно и тихо ликовала: сидящий у ее ног мужчина был захвачен в плен без сопротивления. Впрочем, все они летели на ее свет без оглядки, не опасаясь опалить крылышек. Но Эрих — не все. Эрих — единственный и лучший. Громкая слава, очень громкая, мировая. Бесконечный калейдоскоп женщин. Ну, теперь-то он завяз надолго. Не надолго — навсегда.

— Я уверена, ты достоин Нобелевской премии. Это какая-то гнусная интрига, что тебя отстранили.

Он нахмурился:

— Видишь ли, тут совсем другая история, до нее я еще дойду. Когда я пытался заявить о себе в послевоенные годы, книги еще не было, и я даже не предполагал, что когда-либо напишу ее. Учительство мое оказалось коротким. Начальству «артистические замашки» фронтовика не понравились, пришлось вернуться в родной городок. В отцовском доме оборудовал себе кабинет в башенке — там я рисовал, играл на рояле и начал сочинять.

— Ты необыкновенный! — Марлен чувствовала, как опьяняющая волна нового, грандиозного романа начинает кружить голову. Его точеный, немного хищный профиль, его глаза — глаза, познавшие печаль и восторги... Его писательский дар, творивший миры... Этот мужчина обещал многое. В полусне комната раскачивалась, наполненная вишневым светом и зыбким восторгом праздника. — Стал писать и сразу получил мировую известность! — сказала Марлен, подумав о том, что следующую книгу он посвятит ей.

— Э! Вовсе не сразу, лунолика. Прежде я написал кучу дерьма и стал выпивохой. Ты же знаешь, это с моей подачи кальвадос вошел в моду.

— Хочу кальвадос... крепкую яблочную водку... — голос Марлен звучал сонно.

Кальвадос нашелся в ночном баре на набережной. Когда Ремарк вернулся, Марлен спала, свернувшись калачиком на краю кровати. Он погасил лампу, распахнул шторы, впуская в комнату лунный свет, и сел у ее ног. На душе было торжественно, как во время органной мессы. Он знал уже тогда, что ступает в магический круг великой любви, которую он боялся и, оказываясь, все еще ждал. Ждал именно ЕЕ. «Ему часто приходилось ждать женщин, но он чувствовал, что раньше ожидал их по-другому — просто, ясно и грубо, иногда со скрытой нежностью, как бы облагораживающей вождление... Но давно, давно он уже не ждал никого так, как сегодня. Что-то незаметно прокралось в него. Неужели оно опять зашевелилось? Опять задвигалось? Когда же все началось? Или прошлое снова зовет из синих глубин, легким дуновением доносится с лугов, заросших мятой, встает рядами тополей на горизонте, веет запахом апрельских лесов? Он не хотел этого. Не хотел этим обладать. Не хотел быть одержимым». О, какая наивная ложь! Он ждал и дождался, он просил и выпросил. Он получил от судьбы ЕЕ — фата-моргану счастья.

И в эту первую, дарованную судьбой ночь следовало очиститься — переворошить, как на генеральной уборке, всю свою почти сорокалетнюю жизнь. Эрих вытянул затекшие ноги и отхлебнул из наполненного бокала.

— Ты думаешь, я сразу стал писателем? Эх, лучше бы тебе не знать про мое сочинительство, нежная. Сидя в своей башенке при свете свечей, я написал и даже издал за свой счет первую повесть.

«Мансарда снов» — кошмарная пошлость. Когда я прочел напечатанный экземпляр, то чуть не сгорел от стыда и немедленно скупил остальной тираж. Я сжигал свои книги в овраге за околицей и приговаривал: «Не пиши больше! Никогда не пиши, бездарь!» Потом уехал куда глаза глядят. Сначала пришлось торговать надгробиями, но вскоре попала работа в журнале — сочинителем рекламы. Дурацкая работа, но все же — журналист! Нырнул в богемную жизнь с головой, море кальвадоса, хоровод красоток, в том числе и самого невысокого пошиба. Я почему-то нравился женщинам, а сам, не пропуская и пустяковых, искал свою Звезду. Не знал, какая она, понимал лишь: встречу и сразу узнаю... — Эрих долго смотрел на спящую Марлен, ощущая себя кладоискателем, нашедшим наконец

вожделенное сокровище. Господи! Марлен Дитрих! Далекая и непонятная. Она могла оказаться какой угодно, эта возлюбленная славы: заносчивой, жестокой, примитивной — любой, но не такой нежной, умной, тонкой, естественной... Теплой, чарующей, как майский вечер... Погибель. Невероятно, но женщина, покорившая миллионы, тихо дышала рядом, отдавая ему свой детский, невинный сон.

Осушив бокал, он прислушался к себе — кальвадос обладал удивительным свойством, из сонма ощущений и мыслей он умел, как ученый попугайчик из ящика с билетиками-предсказаниями, доставать самое главное. «Счастье, — подсказывал кальвадос. — Оно перед тобой — твоё счастье...»

— В 1925 году я добрался до Берлина, — продолжил Эрих, адресуя рассказ ночи. — Здесь в красавца-провинциала влюбилась дочь издателя престижного журнала «Спорт в иллюстрациях». Но жених пришелся родителям не по вкусу. Отец серьезно поговорил со мной относительно бесперспективности видов на его дочь, а работу в журнале все же дал. Вскоре я женился на танцовщице Ютте Замбона. Влюбленность была сумасшедшая, да и она сама... Большеглазая, худенькая Ютта — в те годы она страдала туберкулезом — будет потом появляться в моих романах. Пат в «Трех товарищах» — это целиком она. Но это еще случится не скоро. Пока мы бурно переживали наше чувство — ссорились и мирились — у меня ведь совсем не простой характер, а она и вовсе была сумасшедшей. Так вот... Послевоенный Берлин... Дивная, ведь мы были где-то рядом... Вертепы богемных клубов, тонущие в дыму рестораны, геи, проститутки, наркоманы, поэты, прорицатели, бандиты, нищие и толстосумы — все жили как в лихорадке, стремясь вырваться к благам жизни, казавшимся после разрухи и смерти особенно притягательными. Тщеславие — не последняя из моих черт. Мне непременно надо было выделиться, стать заметным. Я чрезвычайно озаботился своей внешностью, ведь мы с Юттой вращались в богемных кругах, были завсегдатаями театров, концертов, модных ресторанов. Элегантные костюмы, монокль и визитные карточки с короной! Разумеется, это смешно. За пятьсот марок я уговорил обедневшего аристократа формально усыновить меня и получил баронский титул. Мне так нравилось раздавать своим новым знакомым атласные визитные карточки с фамильным гербом и приставкой «фон» перед новой фамилией. Эрих фон Бухвальд! Звучит, верно? Ведь я дружил со знаменитыми автогонщиками и так хотел хоть чем-то выделиться. Тогда я и решил — писательством! Быстро состряпал в 1928 году и опубликовал романчик «Станция на горизонте». Кто его сейчас вспомнит? Макулатура. Один мой приятель сказал, что это книга «про первоклассные радиаторы и красивых женщин». Господи, что я знал тогда о красивых женщинах? — Эрих склонился над спящей и прикоснулся губами к высокому лбу.

Марлен вызывала мощную волну преклонения, чувство, близкое к религиозному. Что он знал о ней? Шумиха сплетен, болтливая молва, сочинявшая небылицы. Фильмы? Странно — он не попал под их магическое воздействие. Он слишком был занят своими бурными увлечениями, чтобы влюбиться в экранную диву. Он слишком мало верил в слова с большой буквы, чтобы доверять им. И вот час пробил: судьба решила одарить Эриха...

«Только не принимай ничего близко к сердцу, — напомнил ему внутренний голос. — Ведь то, что примешь, хочется удержать. А удержать нельзя ничего».

— Иди ты к черту, мудрец! — Эрих поднялся, подошел к окну и швырнул в канал пустую бутылку. — Так будет с аждамой, кто посмеет учить меня жизни! Я удержу ее. Удержу!

За крышами и куполами рождалось розовое утро. И нежно улыбалась, обещая все радости мира, его постоянная спутница — надежда.

## 2

Весь следующий день они провели в Венеции. Ходили по узеньким переулкам, стояли на выгнутых мостиках, не замечая, как сворачивают на Марлен шеи прохожие. Некоторые даже шли следом на расстоянии, не решаясь побеспокоить пару просьбой об автографе.

Марлен старалась выглядеть как можно неприметней, но это было в принципе невозможно совместить с ее гардеробом, манерой двигаться и тем чувством юной радости, которое охватило ее. Первая девичья влюбленность — разговоры взахлеб, обожающие взгляды, жар касаний — никогда в ее жизни такого не было! Никогда. В этом вечно юное колдовство любви, в этом — бесстыдная правота Марлен. Старые камни Венеции, зеленая вода каналов, кажущихся бездонными, срывающиеся в небо голуби — свидетели тому. Какими дивными переливами звучал ее голос, как нежно развевалась на ветру лазурь шифонового шарфа, крыльями взлетающего за спиной, как сверкали глаза, как горяча была рука, державшая его под руку!

Эрих был молчалив, растворяясь в колдовстве этой прогулки, в ощущении ее гибкого бока, прильнувшего к нему на мостике, близости алых губ, светлого, завораживающего лица. Гондольер, вынырнувший из-под мостика, распевал «Санта Лючию».

— Они тут все поют, как Карузо! — Марлен тихо засмеялась, ощутив взгляд Эриха на своем лице.

— Они поют для тебя. Здесь все — для тебя. Прикосновение взглядом. Ожог — это дается далеко не каждому. Орлиные глаза Эриха казались особенно зоркими. Черная обводка окаймляла янтарную радужку, зрачок затягивал в черную бездну — взгляд приговоренного к Вечной любви. Запрокинув голову, Марлен смеялась...

На маленькой площади — лотки с яркими фруктами, зеленью, орехами, цветами. Марлен набрала целый кулек и тут же крепкими зубами впилась в красное яблоко, брызнувшее соком.

— Ты словно деревенская девчонка, — сказал он, замирая от нежности.

— А ты полагал, что я умру от голода без фруктового ножичка и трех салфеток в руках лакея? Я не очень-то увлекаюсь фруктами. Яблоки — исключение. Яблоко — это еда молодых — отличных зубов и десен. И я предпочитаю есть их именно так. — С наслаждением обглодав огрызок, она швырнула его в подворотню. Марлен чувствовала, что все, что бы она сейчас ни сделала, будет принято Эрихом с восторгом. Интуиция подсказывала ей, какой она должна быть с ним — живой, естественной, разрушающей образ недоступной и напыщенной кинодивы.

Толстая загорелая крестьянка за цветочным прилавком вытащила из ведерка огромный букет алых роз. Обернув букет листом бумаги, Эрих протянул его Марлен.

Она приняла букет и решительно направилась к каналу. Слегка склонившись за парапет, бросила цветы в воду. Эрих вопросительно посмотрел на нее:

— Жертвоприношение? А, понял! — Он ударил себя ладонью по лбу. — Понял! Это не твои цветы, лунолика. Каков глупец! Что за банальность — дарить розы изысканнейшей. Хочешь, угадаю твои цветы? — Взяв Марлен за руки, он посмотрел в ее непроницаемое лицо.

— Лилии? Ошибка. Ландыши? Да, да, ландыши, фиалки и сирень!

Марлен закрыла глаза и подняла подбородок, отдавая ему губы.

Когда золотой свет заката залил небо, четко очерчивая купола палатки и церквей, они сидели в ресторане на площади Святого Марка, выходящей на Большой канал. Почти пустой зал, в котором еще горели косые лучи заходящего солнца. Розовые отсветы на белых длинных скатертях, на крахмальной манишке Эриха и мраморной коже Марлен.

— Три года назад, да, целых три года! Я видел тебя в Зальцбурге. На тебе был светло-серый костюм с очень прямыми плечами, хотя на такие вещи я никогда не обращаю внимания. Наверно, я тогда уже знал...

— И я знала. Ждала, когда Венеция соединит нас. Смотри, как золотится вода канала, как весело качаются на воде чайки. Парами! Это предсказание.

— Венецией надо любоваться в сумерках или на рассвете — в свете Тинторетто. Это твой цвет, лунолика.

— А я сейчас любовалась тобой. Когда ты выбирал вина. Каждый мужчина считает себя знатоком, но такого... такого мастера я встречаю впервые. Тебе в самом деле удастся различить на вкус не только сорта вин, но и год их производства?

— У тебя будет множество случаев в этом убедиться. — Он накрыл ладонью и сжал ее руку. — Завтра мы поедем отведать белого бургундского вина в деревенской трактирии.

— А потом направимся в Париж! Я хочу вместе с тобой видеть все самое любимое. Все-все! Ведь ты свободен?

— Вольный поэт. Одинокий мужчина, мирно проживающий со своими собаками на берегу озера Лаго-Маджоре. Маленькое местечко Порто-Ронко со стороны Швейцарии возле Асконы. Шесть лет назад приобрел там виллу под названием «Каза Монте Табор». Славная берлога! Каменный старинный стол под мимозами и акациями. Много картин, мои любимые Сезанн и Ван Гог.

— Отменный вкус, и вовсе не для бедного художника.

— Когда прогремел мой роман, я стал безумно богат.

— Это, должно быть, приятно — внезапно разбогатеть!

— Деньги не приносят счастья, но действуют чрезвычайно успокаивающе. Я перестал бояться завтрашнего дня, пустых карманов, вынужденных дурацких заработков.

— Стал важничать и задирать нос.

— Не вышло. Все никак не мог поверить, за что мне такая слава. Да и сейчас не верю. Ведь я, в сущности, невежда. Недавно купил несколько толстенных томов энциклопедии, чтобы заполнить пробелы в образовании.

— Ты — самый умный и талантливый. Нацисты не зря сожгли твои книги. — Марлен нахмурилась. — Твои романы очень опасны для них. Да, опасны!

— Гитлер объявил меня французским евреем Крамером — вывернув наизусть мою фамилию. — Эрих пожал плечами. — Я не еврей, не левый. Я был и останусь антифашистом.

— Это для них самое страшное. Ты — кумир миллионов, а все тираны боятся чьей-то власти.

— Увы, роман не понравился литературным кумирам моей юности — Стефану Цвейгу и Томасу Манну. Манна вообще раздражает рекламная шумиха вокруг меня и главное — моя политическая пассивность. Я ведь не делаю антигитлеровских заявлений в прессе. Тихо пишу в своей норе. Думаю, миссия спасителя Отечества не по мне. Я мелковат для памятника.

— О, нет! Каждый твой герой достоин памятника.

Эрих улыбнулся:

— Милая, не заблуждайся. Мои герои лучше меня. Мне до них не дотянуться. Знаешь, какая поднялась шумиха, когда меня выдвинули на Нобелевскую премию? Лига германских офицеров выдвинула протест, обвиняла меня в том, что я написал роман по заказу Антанты и что вообще — украл рукопись убитого товарища. Какой был крик! Меня называли предателем родины, плейбоем, дешевой знаменитостью.

— Бедный! Мы оба — бедолаги. Меня в ряду других актрис один мерзавец назвал «ядом для касс». И что ты думаешь? «Парамаунт» не решился разорвать контракт со мной, но съемки фильмов по всем написанным для меня сценариям приостановил до лучших дней. Я свободна как ветер!

— Глупые бутафоры, что они смыслят в настоящих сокровищах? Ухватили жар-птицу, хотя им было бы довольно и крашеной курицы...

— Американцы — и этим все сказано, — вздохнула Марлен. — Но и Германия для меня закрыта. Я отвергла предложение возглавить киноиндустрию Третьего рейха.

— Читал в газетах! Умница! Какая ты все же умница!

— Теперь на родине я персона нон грата. Мы оба изгнаны, милый.

— Я вовремя удрал. В январе 1933 года, накануне прихода Гитлера к власти, ко мне подошел в берлинском баре мой приятель и сунул записку: «Немедленно уезжай из города». Я сел в машину и в чем был укатил в Швейцарию. В мае нацисты предали роман «На

Западном фронте без перемен» публичному сожжению «за литературное предательство солдат Первой мировой войны», а меня вскоре лишили немецкого гражданства.

— Попробуем жить без них? Уверена, у нас здорово получится. — Марлен посмотрела так, что у Эриха заняло дух и он застыдился своего заявления о мужской несостоятельности. — В Париж! Это будет начало. — Эрих поднял бокал с шампанским. — Это будет наша весна. Вечная весна. — Марлен часто пользовалась фразами из своих ролей. Она вдруг засмеялась: — Знаешь, о чем я сейчас подумала? Ты состоишь из своих героев, а я — почти целиком — из своих героинь.

— Ты и они — как бриллиант и стекло. Они светятся твоим светом. Они завораживают, потому что ты — это ты. Ты — желанная...

В эту ночь Марлен не удалось «уютно поспать рядом» с Эрихом. Жар молодости вернулся к нему в первозданной неутолимой жадности, помноженный на преклонение перед этой единственной женщиной — центром его личной Вселенной, средоточием жизни и помыслов.

Завтракали в траттории рыбацкой деревушки. Смолистый аромат пиний, растущих у самого моря, шорох набегающих на песок волн. Толстый хозяин в длинном фартуке подавал на больших блюдах рыбу, запеченную в углях со свежим чабрецом из Прованса. За окном на синей-синей воде качались маленькие лодки, ветер играл белыми парусами, рыбаки, напевая, чинили сети, загорелые босые женщины несли кувшины к каменному колодцу. Эрих и Марлен держались за руки, не сводя друг с друга глаз. Обжигающее скрещение взглядов, колено Марлен под узкой юбкой, ее смеющийся рот... Он не переставал желать ее, а ангелы сочинительства уже подбирали слова, способные запечатлеть это.

Они говорили и говорили, останавливаясь для того, чтобы слиться взглядами, почувствовать, что ты не просто ворошишь прошлое — ты отдаешь свою жизнь ее главному хранителю. Марлен рассказывала о встрече в Берлине с фон Штернбергом, об их работе в Голливуде и столь неожиданном для нее расставании.

— Джозеф, в сущности, индивидуалист. Ему необходима личная слава. Я ни о чем не жалею. Лишь не перестаю желать ему самого огромного успеха! Пусть без меня. — Марлен улыбалась, но как мерцала в ее глазах глубоко спрятанная боль!

Эрих вспоминал прожитое, и все выходило ярче и значительней, чем казалось до сих пор. Он подтрунивал над своей известностью, своими комплексами неполноценности, заставляющими все время сомневаться в правомерности славы, масштабах своего дара.

— Я ведь до сих пор не верю, что это мой роман по количеству изданий держится на втором месте после Библии. За год было продано полтора миллиона экземпляров! С 1929 года во всем мире он выдержал сорок три издания, был переведен на тридцать шесть языков, экранизирован... Все это обрушилось, как лавина. Когда ко мне потекли деньги со всего мира, казалось, что я попросту аферист, обманувший кого-то. Но быть богатым оказалось весьма приятно. На свете столько вещей, которые хотелось приобрести. Теперь у меня хорошая коллекция любимых живописцев и разных прелестных творений человеческих рук — ковры, вазы, скульптуры. Думаешь, владеть шедеврами единолично стыдно?

— Это справедливая награда за великий труд. Я совершенно не стесняюсь заработанных денег и того, что умею их тратить. Да, гонорары Марлен Дитрих самые большие в мире. Ну ведь платить же они просто так не будут! Эти расчетливые американцы зарабатывают на мне миллионы. И потом, какая адская работа, дорогой мой... Ах, ты сам увидишь, что такое киносьемки!

— А я все же, наверное, авантюрист. Знаешь, за какое время я написал «На Западном фронте...»? За шесть недель! Роман написан сам!

...Эрих умолчал, что писал тогда с невиданным вдохновением и быстротой, никогда больше не появлявшейся. Все это время он жил на квартире белокурой красавицы Лени Рифеншталь. Пять лет спустя книги Ремарка будут жечь на площадях, а Рифеншталь, став режиссером документального кино, снимет знаменитый фильм «Триумф воли»,



прославляющий Гитлера и нацизм. Тогда же она была весьма известной актрисой, приютившей щеголеватого и поверхностного литератора. Помимо занятий любовью, он что-то торопливо писал, сократив до минимума выходы в свет, которые обожала Лени.

Полгода Ремарк держал рукопись в столе, не зная, что создал главное и лучшее произведение в своей жизни. В марте 1928 года издательство «С. Фишер Ферлаг» отказало ему в публикации. Зато потом!..

В побежденной Германии антивоенный роман Ремарка стал сенсацией. Книга и фильм принесли Ремарку деньги. Но нападки привели его на грань нервного срыва. Он по-прежнему много пил. В 1929 году его брак с Юттой распался из-за бесконечных измен обоих супругов. На следующий год он совершил, как потом оказалось, очень верный шаг: по совету одной из своих возлюбленных, актрисы, купил виллу в Итальянской Швейцарии, куда перевез свою коллекцию предметов искусства. Ему было куда удирать в 1933 году от пришедших к власти нацистов.

— Ты и сейчас много пьешь? — Брови Марлен нахмурились.

— Я устал, лунолика. Признаться, последнее время мне было совсем невесело.

— Тебя тревожит Германия?

— После того как немцы проголосовали за Гитлера, ситуация в мире стала безнадежной, глупой, убийственной. Социализм, мобилизовавший массы, уничтожен этими же массами. Человек ближе к людоедству, чем ему кажется. — Он осушил бокал. — С такими мыслями трудно не пить...

— Но ты все же работал?

— Написал «Возвращение», продолжение «На Западном фронте без перемен», в прошлом году закончил «Трех товарищей». Идут переговоры об экранизации.

— Ах, дорогой мой, ты знаменит и богат, но... — Марлен удержала его руки, чтобы заглянуть в самые зрачки. — Но я полюбила бы тебя и тогда, когда ты был бы ничем.

Возвращались в Венецию поздно ночью под звенящими в черноте звездами. Машина мчалась по шоссе, как низко летящая птица.

— Не слишком быстро? — спросил Эрих.

— Нет. Поезжай быстрее. Так, чтобы ветер пронизывал меня, словно листву дерева. Как свистит в ушах ночь! Любовь изрешетила меня насквозь, мне кажется, я могу заглянуть внутрь себя. Я так люблю тебя, и сердце мое разметалось, как женщина под взглядом мужчины на пшеничном поле. Мое сердце так бы и распласталось сейчас по земле, по лугу. Так бы и распласталось, так бы и полетело. Оно сошло с ума. Оно любит тебя. Давай больше не вернемся в Венецию, не поедем в Париж. Исчезнем — украдем чемодан с бриллиантами, ограбим банк и забудем обо всем...

— Давай. Давай никогда не умирать, любимая.

### 3

Отель «Ланкастер» прятался в переулке неподалеку от Елисейских полей и выглядел как собственный замок в Париже. Никаких постояльцев кроме семейства Зиберов-Дитрих во время их пребывания там не было. Они останавливались здесь последние три года, сделав «Ланкастер» своей резиденцией. Полная иллюзия собственного владения, и никакой регистрации. Французская пресса и поклонники вечно толпились в переулке, неся свою вахту ночью и днем в любую погоду, но никто не пытался проникнуть за порог отеля. Подкуп прислуги в «Ланкастере» был делом неслыханным.

Убранство отеля соответствовало представлениям о дворцовой роскоши. Канделябры, баккара, обитая парчой мебель, бесчисленные антикварные безделушки, граненые зеркала, версальские двери, широкие окна с роскошными шторами из атласа, тафты и тюля.

К моменту прибытия Марлен и Эриха ее апартаменты утопали в букетах белой сирени, прибывших ждали ящики с шампанским «Дом Периньон».

— Бог мой! Вот это сюрприз! Как ты это все устроил, волшебник? Когда? Наверно, скупил всю сирень во Франции! И шампанское! Это лучший день в моей жизни! — Марлен кружилась среди благоухающих букетов.

Слегка отстранив шторы, Эрих выглянул из окна. Стоявшие внизу люди смотрели на окна в молитвенном экстазе.

— Я немного испугался за тебя. Машина едва пробралась сквозь толпу, а когда ты вышла...

— Они никогда не подходят близко, — отмахнулась Марлен. — Им важно побыть рядом.

— Рядом с чудом, урвать кроху твоего праздника. Я — избранный счастливчик, как я их понимаю! — Эрих поднял Марлен на руки. — Мне придется летать по воздуху с тобой на руках. Пощупай, там растут крылья?

— Крыльев нет. Но пока они нам и не нужны. Пока важнее другое. — Обвив его шею, Марлен тесно прижалась к нему. — Перестань вздрагивать — здесь нет никого. Мы одни в замке. Ни-ко-го...

Марлен проявила оперативность, отдав распоряжение в «Ланкастер» из Италии по телефону. Дочь спешно переселилась в другой отель, муж вернулся в свою «холостяцкую» парижскую квартиру. Оба хорошо усвоили кредо «мистера Дитриха»: будь дружелюбен со всеми, сюда входящими, терпеливо жди, когда их сменят другие.

Семья появилась на следующий день. Зибер был почтителен и мил. Четырнадцатилетняя Мария — заинтригована: по телефонным звонкам матери из Италии она поняла, что ее новый друг сердца — личность незаурядная.

Она вспоминает эпизод своего знакомства с Ремарком: «...Мать пробиралась сквозь сирень и тянула за собой несколько смущенного гостя:

— Дорогая, поди сюда. Я хочу познакомить тебя с самым талантливым писателем нашего времени, автором книги «На Западном фронте без перемен» господином Ремарком!

Я присела в реверансе и заглянула в лицо весьма любопытного для меня человека: точеное, похожее на скульптурное изображение, с капризным, как у женщины, ртом и скрытным, непроницаемым взглядом.

— Кот? Тебе нравится, когда тебя так называют? А меня друзья зовут Бони. Вот мы и познакомимся, — сказал он мягко, с аристократическим немецким выговором, будто читал хорошие стихи.

— Нет-нет, мой милый! Ребенок должен называть тебя господин Ремарк, — ворковала мать, пристраиваясь к нему сбоку.

Она взяла Ремарка под руку и вывела из сиреневого будуара. Я продолжала распаковывать книги господина Ремарка и думала: из-за него действительно можно было потерять голову!

Мы с Ремарком стали близкими друзьями. Я всегда считала, что у него лицо добродушной веселой лисицы, как на иллюстрациях к басням Лафонтена, у него даже уши слегка заострились кверху. Ремарку была свойственна театральность: он, словно актер в героической пьесе, вечно стоял за кулисами в ожидании обращенной к нему реплики, а сам тем временем писал книги, наделяя всех героев мужчин своими разносторонними способностями. В жизни они не сочетались, создавая единый характер, а лишь выделяли самые интригующие его черты. Им не дано было слиться воедино не потому, что Ремарк не знал, как этого добиться, просто он считал себя недостойным такой идеальной завершенности».

Марлен, с детства блестяще говорившая по-французски, была отчаянной франкоманкой. Французы представляли для нее образец шарма и галантности, Париж

полностью соответствовал представлениям об аристократичности.

— Бони! Знаешь, кто самая большая любовь в моей жизни? Париж! Это навсегда, это до самого конца! И не надо ревновать к нему — он вне конкуренции. Посмотри сюда — только французы могут изображать из зелени и креветок пейзажи на куриных грудках, а салат превращать в произведение искусства! Только здесь хрусталь баккара сверкает так ослепительно и так томно распластывается севрский фарфор на белой льняной скатерти, обшитой кружевом шантильи!

Они завтракали в столовой «Ланкастера», обклеенной расписанными вручную обоями с ленточками и розовыми бутонами. Торжественно выгнули спины хрупкие позолоченные стулья, в ведерке охлаждалось любимое шампанское Эриха — «Дом Периньон». За распахнутыми окнами поднимали цветущие ветви старые каштаны.

— Ты видела? В ноябре каштаны зацвели второй раз. Это в честь тебя. И знаешь, что я думаю? — Эрих встал возле распахнутого окна. — Почему устанавливают памятники разным людям? Мы должны установить памятник луне и этому цветущему дереву.

— Памятник непременно будет. И луне, и каштану. Я даже знаю какой. Только не сейчас, милый, — Марлен подняла с колен салфетку, вышла из-за стола и потянулась всем телом, отдавая себя взгляду жадно глядящего на нее мужчины. — Сейчас... Сейчас ты повезешь меня кататься?

— Ну, разве ненадолго, и как прелюдия к напряженной работе над... созданием памятника.

— Именно как прелюдия!

— Тогда шофер готов, мадам! — Эрих отсалютовал.

— погоди минутку. — Она удалилась в свою комнату и вскоре вышла оттуда в бежевом брючном костюме и мягкой широкополой шляпе.

— Ну как? — Марлен встала перед Эрихом в рекламной позе.

— Роскошно. Но не слишком ли смело для городской прогулки?

— Ты ретроград, Бони! Я приучила парижан к брюкам еще два года назад.

...День был солнечным, ярким. Казалось, в Париж вернулась весна. Цвели не только каштаны — цветами покрылись кусты жимолости, и даже сирень набирала грозди.

— Я хочу пройтись, — объявила Марлен сидящему за рулем Эриху...

— Что за прогулки на высоченных каблуках?

— Бони, запомни накрепко: Дитрих никогда не носит каблуки больше четырех дюймов! Высокие шпильки — для шлюх. Притормози вон там.

Ремарк остановил машину в переулке неподалеку от Триумфальной арки. Марлен вышла, распрямилась во весь рост, казавшийся почему-то значительно большим, чем на самом деле, и двинулась вдоль улицы. И здесь началось невиданное. Она просто шла, а город вокруг менялся, превращаясь в зрительный зал. Продавцы в магазинах бросали своих клиентов и выскакивали наружу, в открытых кафе прекращалось всякое обслуживание, стыла еда, замирали в руках бокалы с вином. Одни машины тормозили посреди потока, другие медленно следовали за ней, жандармы забывали свистеть. Толпа людей росла, двигаясь за Марлен.

— Марлен, вернемся к машине. — Ремарк сжал ее локоть. — У меня такое ощущение, что сейчас все они накинутся и разорвут тебя в клочья! Ты слишком экстравагантно одета.

— Глупости. Я хочу постоять у Триумфальной арки. Я загадала желание. Ну как? — Она остановилась на фоне четко очерченной в голубом небе арки — как в раме.

— Почему мы не взяли фотоаппарат? Придется грузить память. О... она же не выдержит, бедняжка... Марлен и Арка... Это слишком.

За их диалогом следили остановившиеся на почтительном расстоянии люди. Кто-то щелкнул фотоаппаратом. Эрих взял Марлен под руку и потянул назад к автомобилю.

— Так будет лучше! — Пospешно захлопнув за Марлен дверцу автомобиля, Ремарк поспешил сесть за руль и отъехать подальше. Только у следующего перекрестка он перевел дух. — Я боюсь толпы.

— Привыкай, Бони. Нам придется часто появляться вместе. Великого автора тоже начнут узнавать на улицах, и ты поймешь, как это подстегивает, заставляет держать форму.

— Милая, мне многого хочется, но почему-то не этого. Хотя твоих обалдевших поклонников я понимаю очень хорошо. И жалею, бедолаг. Каждый из этих мужчин отдал бы полжизни, чтобы оказаться на моем месте хоть на один вечер. Да что там полжизни — целую жизнь!

## 5

Все утреннее время было отдано посещению мехового магазина. Марлен нужны зрители и советчики, в сопровождающих — Ремарк и Зибер.

Она возвышалась в центре сверкающего зеркалами зала, а у ее ног веером лежали шкурки: всевозможные лисицы — серебристые, белые, бурые, черные, леопард, тигр, гепард, горностай, каракульча, зебра, снежный барс, шиншилла, нутрия, котик, бобер и знаменитый серебристый соболь.

Две продавщицы, выглядевшие как дамы из высшего общества, собравшиеся в парламент, стояли навтыжку. Две другие замерли, готовые по первому требованию пополнить коллекцию. Марлен сосредоточенно рассматривала лежащие у ног сокровища, способные привести в шок современного гринписовца.

— Думаю, из норки следует сделать что-то вроде пледа для прохладных вечеров в саду. Уютный мех и теплый... Неплохая идея, а? Светло-рыжая лисица... не знаю... Папи, что если сшить из нее накидку до колен? По-моему, эффектно. А это, — она вытащила из горы шкурок две чернобурки с лапками, мордочками и блестящими стеклянными глазами. — Я всегда любила небрежно набрасывать чернобурку на черные костюмы. А дымчатые лисицы лучше подойдут к серым фланелевым... Молодой атласный котик... Пожалуй, пойдет на жилетик для белых фланелевых брюк. Нутрия... ну если только скромное пальтишко, чтобы выходить по утрам в холодную погоду на студию.

— Марлен, взгляни на горностая, — кивнул Эрих на белые шкурки с черными хвостиками. Как советчику, ему было необходимо высказаться. — Кажется, это как раз для тебя.

— Ну уж нет, Бони! — Марлен не уловила иронии. — Горностай хорош для тех, кто носит серебряные кружева и королевские тиары. Годится лишь для престарелых королей и костюмных фильмов. Так же и шиншиллы, посмотрите: потрясающая легкость, но как старят! Эта прелесть для величественных развалин с подсиненными волосами и огромными отвислыми грудями. — Марлен оглядела отложенную продавщицей гору мехов. — Пожалуй, все. Вот только не решила, что делать с серебристым соболем... У меня уже была накидка в пол в «Кровавой императрице». Правда, потрясающая?

— Позвольте обратить ваше внимание, мадам Дитрих. — Старшая продавщица бросила на руку шкурку соболя и слегка потрясла ею. — Свежая поставка прямо из Сибири! Шкурки в наборе на какую-то солидную вещь. Это же сказка!

— Люблю соболя, — согласилась Марлен. — Думаю, надо взять на всякий случай. Потом подумаю, куда его приспособить...

В машине Эрих шепнул Марлен:

— Все это должен был подарить тебе я. У меня было неприятное чувство, когда Зибер достал чековую книжку.

— Ах, милый! Книжка у него — деньги мои. Но меха — не подарок с прицелом на вечность. Они быстро теряют свежесть.

— Верно... — Ремарк прищурился, — на аукционе в Лондоне я видел перстень Марии-Антуанетты с удивительным изумрудом. Это ведь твой камень?

Марлен усмехнулась:

— Изумруд — украшение дерзких красавиц. Не зря же ей отрубили голову. Завистники всегда найдутся, чтобы ограбить преуспевших. Собственно, это и называют революцией.

Позже Ремарк подарит Дитрих отменный бриллиант. Но больше камней он ценил Слово. Драгоценные слова своих писем Эрих будет бросать к ногам Марлен с избыточной щедростью. И, что и в самом деле удивительно, они не потеряют ценности даже после того, как и даритель и одариваемая ушли из этого мира, а драгоценности Марлен исчезли на распродажах.

## 6

На стеганом атласном покрывале широкой постели разложены вечерние туалеты. Марлен задумчиво покусывает палец.

— Бони! Где ты пропал? Я совершенно растеряна. Мы идем к «Максиму». Не знаю, надеть ли белое платье с золотым корсетом от Скиапарелли или черно-золотое от Аликс. Или вон то, с черными блестками, а может, шелковый костюм от Лануан? Боюсь, бисер на воротнике станет царапать шею. Наверно, лучше надеть зеленовато-золотистое из Голливуда... или шифоновое в греческую складку от Виоме? Отличное, но немного полнит... Господи, какая мука! Бони! Что с тобой? Почему ты молчишь? — только теперь она взглянула на него.

— И зачем только я поднимал тебя! — Эрих держался за спину, не в силах разогнуться. — Милая, ты связалась с больным стариком. Ко мне явился любимый ишиас.

— Это действительно так больно? Ты не можешь выпрямиться?! — Глаза Марлен вспыхнули энтузиазмом. — К чертям «Максима», немедленно в постель, сейчас мы будем лечиться.

Через час в комнате сидел лучший доктор Парижа, а еще через полчаса больной, растертый мазями, укутанный шерстяными пледами, возлежал на постели с чашкой горячего бульона.

— Пей все! Я сама проследила на кухне за тем, как его готовили. В моих наваристых бульонах мощная целительная сила. Об этом знает весь Голливуд. Когда хворал Джо, я посылала на съемочную площадку огромные термосы! — Марлен поправила бретельку кухонного фартука.

— Ты похожа на фронтovou «сестричку». Сделай мне укол, подруга. Нет, спасти меня может лишь отменный поцелуй.

Марлен отстранилась от его руки:

— Прежде ты выздоровеешь, а для этого каждые два часа я буду растирать тебя этой жгучей мазью!

— Я уже понял очень важную вещь — есть сила, которой не способен сопротивляться даже мой свирепый старикан ишиас. Ты, лунолика.

Марлен в черном глухом платье, украшенном бриллиантовой брошью, нервно ходила по гостиной, обрывая цветки сирени.

— Какой-то военный атташе германского посольства рвется встретиться со мной! Разве нацистам еще что-то не понятно? Мне не о чем с ним говорить. Хорошо, я приму его! Я должна быть осторожна, ведь мама и моя сестра Лизель не собираются уезжать из Берлина. Но как мне хочется послать их к чертям!

— Ты не должна навлекать опасность на своих близких. Будь осторожней, это страшная людоедская власть. Не горячись, любимая. — Эрих, вернувшийся за три дня интенсивного лечения былую статью, направился к дверям. — Я буду рядом, если что — зови.

— Нет! Ты должен уйти, Эрих! Ты сам сказал, что это опасно. Немедленно уходи!

Марлен сняла трубку зазвонившего телефона, ее глаза округлились:

— Это портье, они уже здесь! Скорее, иди в ванную. Они не станут заходить в мою спальню!

— Но это смешно, дорогая! — сопротивлялся Эрих.

— Умоляю! — Заломив руки, Марлен упала на колени, и он подчинился. Проводив Ремарка в ванную, она быстро заперла за ним дверь.

Вскоре появились трое — важный, вылощенный военный атташе в сопровождении двух офицеров в черных мундирах с серебряными орлами и свастиками. Атташе кивнул, и богатыри остались у дверей, отчетливо вырисовываясь на фоне бело-золотого ланкастеровского холла, — молодые, белесые, с крепкими шеями, квадратными подбородками и стальными глазами.

Марлен предложила гостю последовать за ней в кабинет. В апартаментах воцарилась тишина, лишь пару раз дернулась дверь ванной, незамеченная, к счастью, охраной. Через пятнадцать минут Марлен и атташе вышли из кабинета. Немец щелкнул каблуками, элегантно приложился к протянутой Дитрих руке и, отрывисто салютовав «Хайль Гитлер!», удалился в сопровождении богатырей со свастиками.

Марлен спешно выпустила Эриха из ванной, он стремительно ворвался в гостиную.

Губы Эриха побелели:

— Марлен, никогда больше не смей запирать меня! Я не убежавший из дома ребенок и не безответственный идиот, бросивший вызов действительности из-за бессмысленной бравады.

— О, моя единственная любовь! Я же боялась! Ты знаешь, как они ненавидят тебя за то, что ты, не еврей, эмигрировал из Германии. Они воспользовались предлогом, чтобы найти тебя! А все эти разговоры со мной — только прикрытие!

— Разве речь шла обо мне? Они знают о нашей связи?

— Ах, разумеется, нет! Этот индюк в который раз талдычил, что Гитлер хочет видеть меня великой звездой его германского рейха.

— Ты — мировая знаменитость, Марлен. Им важно заполучить тебя как идеологический символ. Им важно сломить твое упорство.

— Ах, глупости! Причина в другом. Гитлер присылает своих офицеров высокого ранга, уговаривающих меня вернуться, только потому, что он видел меня в «Голубом ангеле» в поясе с подвязками и не прочь забраться в те самые кружевные панталоны!

Ремарк захохотал, откинув голову назад.

— Ты роскошна! Ты неповторима! Знаешь кто ты? Ты — пума! Золотая пума.

10 ноября 1937-го Эрих провожал Марлен в порту Шербурга, откуда на пароходе «Нормандия» она должна была следовать до Нью-Йорка.

Огромный белопалубный красавец «Нормандия» возвышался над пристанью, над гулом толпы, пестрым кишением людского муравейника. Духовой оркестр на палубе играл «Марсельезу». Царила та предотъездная суэта, которая неизбежно порождает волнение и большую печаль. Ремарк молчал, стиснув в себе непередаваемую тоску: он только что обрел ЕЕ и вновь теряет. Он знал, какой хрупкой бывает жизнь и как страшно шутит порой судьба.

— Пойми, я должна зарабатывать деньги. Я не могу быть жалкой. Я не могу допустить, чтобы от меня исходил запах «бывшей» или безработной звезды. Живу на широкую ногу, чтобы придать себе блеска. Но надо позаботиться о будущем. — Марлен держала его за руку, все время оглядываясь на репортеров, дежуривших поблизости. Снимок со знаменитым писателем — вовсе не плохо. Но зачем такое трагическое выражение лица? — Бони! Разве что-то может разлучить нас? Пойми, мы скоро увидимся.

— Драгоценная моя, ты будешь так далеко. Мне страшно даже представить все эти тысячи километров... Послушай, мы должны что-то решить. — Он крепко обнял ее, такую хрупкую и нежную в белых одеждах. — Возможно, преждевременно заводить этот разговор... Но твой муж и Мария... Я чувствовал себя очень неловко, как в водевиле. Я должен был сказать Рудольфу, что никогда не выпущу тебя из своих рук. Что это навсегда. Что он — лишний.

Марлен осторожно высвободилась, кивнув в сторону приближавшихся репортеров с камерами.

— Давай отложим этот разговор, любовь моя. Зибер — мой близкий друг, и только. Но мы не должны травмировать Ребенка, Мария верит, что живет в крепкой семье.

— Я буду тосковать. Очень сильно тосковать по тебе.

— А я все время буду с тобой! Я везу целый ящик твоих книжек. Перестань смотреть так жалобно. Поверь, мне тоже очень больно... — Она подняла глаза к ясному небу, сдерживая стоящие в глазах слезы. Не хватало еще, чтобы от слез отклеились искусственные ресницы. Хорошенькие фото нащелкают эти ребята. — Я не имею права рыдать, любимый. «Легенда» должна быть сильной. Из железа и стали...

«Стальная орхидея...» — прошептал Ремарк, следя за тем, как поднималась по сходням на корабль белая фигурка.

«Нельзя привязываться к людям всем сердцем, это непостоянное и сомнительное счастье. Еще хуже — отдать свое сердце одному-единственному человеку, ибо что останется, если он уйдет? А он всегда уходит...»

## 7

Ремарк вернулся в свой дом в Порто-Ронко, казалось, только затем, чтобы излить в письмах к ней все, что хлынуло наружу, стоило лишь разлуке наложить свои запреты. Запреты видеть, говорить, осязать, ощущать всем жадным, переполненным чувствами существом.

«Сейчас ночь, и я жду твоего звонка из Нью-Йорка...

Нежная! Любимая кротость! Сладчайшая... иногда по ночам я протягиваю руку, чтобы притянуть поближе к себе твою голову...

Милая! Ангел западного окна! Мечта светлая! Я никогда больше не буду ругаться, когда ты убежишь от большого ишиасом старика. Золотая моя, с узенькими висками и глазами цвета морской волны, вдобавок я обещаю тебе больше никогда не ругаться из-за проклятого шелкового одеяла, за которое цепляются пальцы ног...

Малышка с катка! добытчица денег!.. Мы еще ходим с тобой в самую большую кондитерскую, и я закажу тебе какао со взбитыми сливками и огромное блюдо с яблочным пирогом...

Но какой в этом прок — обманываться воспоминаниями, когда я люблю тебя, милая, и мне тебя ужасно не хватает, я заставляю себя не думать об этом — о темноте, о том мгновении, когда я пришел к тебе, а свет был выключен, и ты бросилась из темноты в мои объятия... и твои губы были самыми мягкими на земле, и твои колени коснулись меня, и твои плечи, и я услышал твой нежный голос — «входи, входи еще...» — трепетная, о бесконечно любимая...»

Он пишет ежедневно и нетерпеливо ждет вечера, чтобы сесть за письмо. Один в освещенной пламенем камина комнате. На коленях умная морда пса, за окном дождь и сырой мрак, янтарные глаза всматриваются в даль, распаханную воображением.

«Разве я видел тебя в залитом дождем лесу, при разразившейся грозе, в холодном свете извергающихся молний, в красных сполохах зарниц за горами... разве знакома ты мне по светлым сумеркам в снегопад, разве мне известно, как в твоих глазах отражается луг или белое полотно дороги, уносящееся под колесами, видел ли я когда-нибудь, как мартовским вечером мерцают твои зубы и губы, и разве мы вместе не ломали ни разу сирени и не вдыхали запахов сена и жасмина, левкоя и жимолости, о ты, осенняя возлюбленная, возлюбленная нескольких недель; разве для нас такая мелочь, как год, один-единственный год, не равен почти пустому белому кругу, еще не открытому, еще не заштрихованному, ждущему своих взрывов?...»

Марлен отвечала как всегда пылко и страстно. Телеграммы и письма летели через океан, поддерживая страсть Эриха. Она обещала ему все — любовь до последнего часа, всю свою кровь, дыхание, помыслы. Кроме одного: отдавая сердце, Марлен не могла отдать руку.

И тогда холостой писатель совершил благородный поступок. Чтобы помочь своей бывшей жене Ютте выбраться из нацистской Германии и дать ей возможность жить в Швейцарии, в декабре

1937 года он заключил с ней повторный брак в Париже. Это была чисто формальная сделка. Ни о ком другом, кроме Марлен, Ремарк не помышлял.

Он понял окончательно, что пронизан, распят этим чувством, — такого не было никогда!

«Но что мне делать в этом городе — он уставился на меня, стоглазый, он улыбается и машет рукой, и кивает: «А ты помнишь?» — или: «Разве это было не с тобой?» — он воздевает передо мной ладони и отталкивает руками, и нашептывает тысячи слов, и весь вздрагивает и исполнен любви, и он уже не тот, что плачет и обжигает, и глаза мои горят, и руки пусты...

Больше не выдержать!..

Такого никогда не было. Я погиб. Меня погубила черная мерцающая подземная река, погубил звук скрипки над крышами домов, погубил серебристый воздух декабря, погубила тоска серого неба, ах, я погиб из-за тебя, сладчайшее сердце мое, мечта несравненной голубизны, свечение растекающегося над всеми лесами и долами чувства...

Сердце сердца моего, такого не было никогда. Беспокойное счастье, сплетение лиан, крики из жарких, лихорадочных ночей... Разве я когда-то испытывал это: нежность? Разве не оставалось всегда пустое место, пятно не захлестнутого ею Я, холода из неведомой дали?

Этого нет больше... Тебе следовало бы лежать на моем плече, мне так хочется ощущать твоё дыхание, ты не должна уходить, ах, жизнь слишком коротка для нас, а сколько без тебя уже упущено и утрачено...»

Марлен мечтает о встрече, она уже все продумала — впереди Париж и отдых у моря. Она изнывает от любви, вспоминая их ночи.

Он помолодел, он полон сил, к тому же бросил пить. Он снова и снова заклинает судьбу, взывая к Марлен, ибо «только в тебе исполнение всех желаний, любимая фата-моргана Господня...»

«Ну, теперь-то я ни в коем разе не импотент.

Не близится ли потихоньку время в очередной раз убедиться, что есть мед в постели? Я верен тебе всецело, это «Милая, дарованная Богом!» Я думаю, нас подарили друг другу и в самое подходящее время. Мы до боли заждались друг друга. У нас было слишком много прошлого и совершенно никакого будущего. да мы и не хотели его. Надеялись на него, наверно, иногда, может быть — ночами, когда жизнь истаивает росой и уносит тебя по ту сторону реальности, к непознанным морям забытых сновидений...»

«Любимая — я не знаю, что из этого выйдет, и я нисколько не хочу знать этого, не могу себе представить, что когда-нибудь я полюблю другого человека. Я имею в виду — не так как тебя, я имею в виду — пусть даже маленькой любовью.

Милая радуга перед отступающей непогодой моей жизни!..

Как тебя угораздило родиться! Как за миллионы лет путь твоей жизни пересек мою, обозначенную редкими блуждающими огнями. О ты, Рождественская! Подарок, который никогда не искали и не вымаливали, потому что в него не верили!..



Разве я жил до тебя? Почему же я что-то порвал и безучастно бросил? О, ты, Предназначенная! Хорошо, что я так сделал... Я — чистый лист, на котором ничего не написано и который начинается с тебя, Предназначенная!

Роса на полях нарциссов в мае... Ласковая темная земля...

И мягкий источник — ручей и река... И слезы.

Очень любимая — давай никогда не умирать...»

Образ Марлен следует за ним, он всегда рядом — на охоте, в блужданиях по горам, в беседах с ночным озером и звездами. Он словно боится прожить мгновение, не освященное ее именем, испытать нечто, не коснувшееся ее, не вплетенное в царственный венец возлюбленной. Когда она является в снах, он весь день пьян от счастья, мелко исписывает листы, которые полетят через океан.

«Золотое лето! Рябина, наливающееся зерно, маковки у моих висков, и вы, руки всех рук, подобно сосуду опускающиеся на мое лицо. Ах, останьтесь, остановитесь, ибо никто не остается, останьтесь и сотрите годы пустоты, темени и слабодушия. Ласковый дождь, неужели я никогда не смогу сказать тебе, как я тебя люблю — со всей безнадежностью человека, который переступал все границы и для которого достаточного всегда мало, человека с холодным лбом безумца, воспринимающего каждый день как новое начало — перед ним поля и леса бытия простираются бесконечно, ах, останься, останься... ах, останься...»

## 8

Они наконец встретились, пережив пять месяцев разлуки. Снова Париж — первые дни мая 1938 года.

«Дождь навис над городом мерцающим серебряным занавесом. Заблагоухали кусты. От земли поднимался терпкий умиротворяющий запах... Кругом стояла ночь, она стряхивала дождь со звезд и проливала его на землю. Низвергавшиеся струи таинственно оплодотворяли каменный город с его аллеями и садами, миллионы цветов раскрывали навстречу дождю свои пестрые лона и принимали его, и он обрушивался на миллионы раскинувшихся ветвей, зарывался в землю для темного бракосочетания с миллионами томительно ожидающих корней; дождь, ночь, природа, растения — они существовали, и им дела нет до разрушения смерти, преступников и святош, побед и поражений. Он существовал сейчас, омывая и благословляя их любовь...»

На этот раз — хризантемы — охапки белых королевских хризантем в комнатах Марлен.

Однажды Эрих бросил цветы в ванну, где в айсбергах искристой пены нежилась его возлюбленная. У него не было кинокамеры, чтобы запечатлеть мгновение, но сердце остановилось от восторга.

— Иди-ка сюда! — Марлен притянула его за шею, и вот они уже вместе...

Потом она мыла ему голову, приговаривая:

— С гуся вода, с Эриха худоба. Глаза не щиплет?

— Щиплет. Я плачу. Плачу от счастья, потому что это непереносимо — ощущать себя таким большим, сильным и одновременно — ребенком! Ты для меня все — моя единственная, громадная радость!

Ремарк уже мысленно пишет роман об их любви, занося все мелочи в кладовые памяти.

«Моя возлюбленная мыла мне голову, а потом я расчесывал ее волосы, пока они не высохли, а еще потом мы спали в комнате, заставленной хризантемами, и всякий раз, когда мы просыпались, цвет лепестков был иным; спускалась ночь, и

порой мы снова просыпались, но не совсем, мы лишь касались друг друга, и только руки наши оживали совсем-совсем ненадолго, мы были так близки и шептали спросонья: «о ты, любимая», и «как я люблю тебя», и «я не хочу никогда больше быть без тебя»...

Я не хочу никогда больше быть без тебя, рот у лица моего, дыхание на моей шее, я не хочу никогда больше быть без тебя, я никаких других слов не знаю... Я хочу отбросить их прочь, я весь — поток чувств и хочу лежать рядом с тобой и беззвучно, молча говорить тебе...»

— Ты грустишь, Бони? — Приподнявшись на локте, Марлен заглянула в его лицо. — Разве что-то не так?

— Не так, милая... Я испытываю боль при мысли о растерянных впустую и пропитых годах. — Он загасил папиросу в хрустальной пепельнице. — И не потому, что они выброшены и безучастно разорваны в клочья, — нет. Я грущу потому, что они не выброшены и не разорваны в клочья вместе с тобой! Почему я не был рядом с тобой повсюду в то блестящее время, когда мир был не чем иным, как невероятно быстрой машиной, искрящейся смехом и молодостью!..

— Так и хочется стенографировать твои слова. Думаю, у тебя назревает новая книга. — Марлен продолжила жевать. — Только не забудь описать, как твоя фата-моргана уплетала ливерную колбасу — плебейский вкус для королевы.

— Все, что ты делаешь, — драгоценно. Я непременно напишу обо всем этом! Я напишу о нас, как никогда и никто еще не писал... Потому что невозможно описать чудо...

— Только, пожалуйста, не пиши, как я жевала, в то время как ты...

— Что я? — Эрих опрокинул ее на спину. — Скажи, скажи, что делал я!

Утром Париж затопило солнце, и так радостно и беззаботно чирикали суетящиеся в кронах каштанов воробьи, что тени прошлого и печали туманного будущего растаяли.

— Я безмерно счастлива, — сказала Марлен, покрывая мелкими поцелуями его лицо. — Я — счастлива!

Он помолчал с минуту.

— А ты понимаешь, что говоришь?

— Да.

Солнечный свет, проникавший сквозь шторы, отражался в ее глазах.

— Такими словами не бросаются, любимая.

— Я не бросаюсь... счастье начинается с тобой и тобой кончается — это же так просто... Я счастлива и хочу, чтобы ты тоже был счастлив. Я безмерно счастлива. Ты, и только ты у меня в мыслях, когда я просыпаюсь и когда засыпаю. Другого я ничего не знаю. Я думаю о нас обоих, и в голове у меня словно серебряные колокольчики звенят... а иной раз — будто скрипка играет... улицы полны нами, словно музыкой... иногда в эту музыку врываются людские голоса, перед глазами проносится картина, словно кадр из фильма... но музыка звучит... Звучит постоянно...» — Она поднялась, распахнула двери и босая выбежала в гостиную, насыщая солнечный воздух ароматом духов, порханием палевых шелков ночной рубашки. Эрих услышал, как хлопнула крышка белого рояля и полились звуки...

## 9

Ле-Туке — курортное местечко на севере Франции, расположено на берегу Ла-Манша. Его выбрал Ремарк: недалеко от Парижа и достаточно тихо. Во всяком случае, можно подыскать виллу подальше от оживленного центра. Да и май на этом, постоянно овеваемом холодными ветрами курорте не самое оживленное время. Ремарк взял напрокат большой «паккард», дабы поместить багаж Марлен. Они выехали утром. Марлен дремала на переднем сиденье рядом с Эрихом, прикрывшись пледом из норки. Он боялся нарушить тишину,

стараясь запомнить все мгновения этой поездки.

Марлен встрепенулась и посмотрела в окно, за которым начинались предместья Руана:

— Очаровательные домики! — Зевнув, она сладко потянулась: настоящая пума. — Не представляю, как можно просидеть всю жизнь в своем вылизанном садике! Ты думаешь, им не скучно? — Она забралась рукой за шиворот его замшевой куртки и пощекотала шею. — Милый, мы уже подъезжаем?

— Осталось немного. А я... — склонив голову набок, он зажал ее руку. — Я бы ехал так целую вечность. Наверно, это древний инстинкт завоевателя — умыкать женщин в свою берлогу.

— Со мной надо быть секретарем и камеристкой. Вот увидишь, начнутся звонки и телеграммы, словно без меня остановилась вся жизнь! — Рука Марлен легла на его бедро.

— К чертям весь свет! Я умыкнул тебя... А в роли камеристки — пожалуйста! Сколько у нас переодеваний в день?

— Ах, пустяки. Четыре скромных чемодана — я никогда не путешествовала так налегке. Даже в такой дыре, как этот Ле-Туке, нельзя пренебрегать хорошим тоном. Буду чувствовать себя совсем раздетой.

— Это я буду чувствовать тебя раздетой. — Эрих тряхнул головой и убрал ее руку, двинувшуюся в путешествие к паху. — Давай-ка лучше отвлечемся. Иначе придется останавливаться в первом попавшемся мотеле.

— О, только не это! Там полно тараканов и застиранные простыни.

— А в поле много колючек и кусачих муравьев. Поэтому... поэтому маленькая лекция для миссис Дитрих, не посещающей «дыры»... Так вот, ровно двести лет назад, в апреле 1837-го, нотариус из соседнего местечка Сук Жан-Батист-Альфонс Далоз приобрел выставленные государством на продажу

1600 гектаров здешних земель. Он намеревался заняться овцеводством и огородничеством.

— Видимо, дела у этого нотариуса шли неплохо, если он мог делать такие приобретения. Но к чему ему овцеводство?

— С сельским хозяйством, к радости грядущих поколений, у Далоза в самом деле не сложилось. Однажды он засиделся в парижском ресторанчике со своим приятелем — основателем газеты «Фигаро» Ипполитом де Вильмессаном. Стал жаловаться на падеж скота и гибель от засухи полей капусты. «А почему бы тебе не бросить к чертям все эти сельскохозяйственные потуги и не превратить свои угодья в курорт четырех сезонов?» — спросил Ипполит, разделявая куропатку. Очевидно, друзья хорошо выпили, идея показалась Далозу перспективной. Он взялся за дело. Через сорок лет его детище получило официальный статус независимого города под названием Le Touquet Paris-Plage. Название Ле-Туке изначально принадлежало владению Далоза — оно связано с построенными здесь в середине девятнадцатого века маяками. Огни у этих маяков вращались, а Le Touquet на пикардийском наречии означает «поворот».

— Бог мой! Ты словно сдаешь экзамен, Бони. — Марлен укутала плечи в меховую накидку. — Расскажи лучше, где мы будем жить.

— В лесу. Видишь ли, милая, Ле-Туке — это и есть лес. Главная магистраль города, носящая имя отца-основателя, — бульвар Далоз, не только связывает Ле-Туке с соседними городами. Она идет параллельно береговой линии и делит его на две зоны — море и лес. Насколько я могу судить, лес — это Ле-Туке,

а вот Пари-Пляж — это, напротив, море, вернее ЛаМанш. Вода у берега мелкая и холодная, к тому же дуют постоянные ветра, и как морской курорт это местечко привлекательно далеко не для всех.

— Я-то вовсе не любитель морских купаний и загара. И порой мечтаю поселиться в глуши. Если есть интересный спутник. — Марлен прижалась к его плечу, и машина сделала резкий вираж.

Они сняли виллу в сосновом лесу подальше от туристических троп и увеселений. Здесь можно было подолгу сидеть среди песчаных дюн пустынного пляжа, подставляя лица дуящему с моря ветру.

— Смотри, море сизое и всегда сердитое. Потому что мелкое. Чтобы намочить колени, надо пройти полмили. — Марлен удерживала обеими руками шляпу из итальянской соломки. — И отлично — я боюсь глубины.

— Со мной тебе нечего бояться. Я такой герой, когда мы одни. Знаешь, до последнего момента не верилось, что удастся сбежать от твоих поклонников, дел, твоей семьи. Да и вообще, в своей норе я привык к уединению. Не хватает только тебя. — Эрих нерешительно заглянул в ее спокойное лицо. Уже несколько раз он пытался завести разговор о ее приезде в Порто-Ронко и, дурачась, но очень всерьез, заманивал перспективой совместной жизни. Губы Марлен чуть тронула улыбка.

Он закурил, прикрывая от ветра сигарету смуглой рукой.

— Я все отлично понимаю, как мои собаки: достаточно полувзгляда. Марлен — королева мира. У миссис Дитрих — миллионы поклонников... И друзей. — Эрих не сдержал иронии. Мысль о том, с кем проводит Марлен месяцы разлуки, не давала ему покоя. Он заново пересмотрел газетные статьи о ней, стискивая зубы от пикантных сообщений.

— Напрасно иронизируешь насчет моих друзей. Да, я дружу с мужчинами. Они нуждаются в моей помощи, я — в их поддержке, интеллекте. Что я могу поделаться, если Хемингуэй чуть ли не каждый день сообщает мне о своем давлении. И, кроме того, часто читает написанное. Считает меня лучшим консультантом, особенно в любовных сюжетах. И вообще, не нужно раздувать драмы на пустом месте! — Марлен поднялась и пошла к дому.

— Постой! — Эрих поймал и поцеловал ее руку. — Не буду! Звони, разговаривай часами с кем хочешь, посылай телеграммы, дружи... Милая, только посидим еще рядом. Я так наслаждаюсь нашим уединением, хотя и понимаю, что тебе не хватает блеска, шума, поклонения... Ты — дитя славы.

— Ты понимаешь не все, Бони, хотя и очень умная голова. — Марлен чмокнула его в висок и села рядом в прикрытие плетеной ширмы. — Если бы ты знал, как я мечтала о деревенском домике с резными ставнями и красными геранями на окне! О скамейке под окном, на которой вечером можно спокойно сидеть, бить комаров и смотреть на закат.

— И что же?

— Год назад, когда мы путешествовали по Австрии, Зибер сделал мне сюрприз — купил то, о чем я мечтала. Все было точно-точно так! И черепица, и зеленые ставни, и комнаты с кружевными занавесками... Даже корова мычала в стойле. Мы прибыли всей семьей, одетые в национальные костюмы из лучшего магазина Зальцбурга! Можешь поверить,

уж я постаралась выбрать все самое эффектное! Мы выглядели как статисты в Венской опере — роскошные и неправдоподобно правильные альпийские фермеры.

— Представляю, божественная доярка. Как бы мне хотелось быть рядом!

— Думаю, ты бы не струсил. А то мне пришлось сражаться самой.

— На вас напали разбойники?

— Корове вздумалось телиться. А фермер, нанятый для помощи в хозяйстве, начал паниковать: теленок никак не вылезал, торчали только ноги. Бедная корова редела от боли. Ну, я не растерялась. Вмиг притащила бутылку крема для лица «Голубая вода» фирмы Элизабет Арден, две чистые скатерти. Вначале мы вылили крем корове под хвост, а потом, ухватив за ноги теленка чистыми скатертями, вытащили его на счет: раз, два, три! Мать и дитя были спасены.

— Милая отважная девочка! — Эрих прижал ее к себе. — Куда тут мои фронтовые приключения! Отважная женщина, как же я тебя люблю — неожиданная, невероятная!

— А знаешь, я бы и на передовой не очень растерялась. Особенно если потребовалось бы воевать с нацистами!

— Можно только молить Бога, чтобы этого не случилось.

— Ты же не веришь в Бога?

— Я не понимаю Его. На войне мне все время казалось, что что-то происходит не так, не по Его правилам. И я злился.

— А сейчас? Мне кажется, Бог нужен слабым людям, у которых есть потребность за кого-то цепляться. И потом, не понимаю, зачем обращаться с просьбами к Всевышнему, если Он все равно все сделает по-своему? — Марлен всегда полагалась только на себя, не принимая высшего наставника.

— Он сделал то, что я даже и не просил, — нахмурясь, Эрих смотрел на синюю полосу горизонта, сливающуюся с небосводом. — Он дал мне тебя. Давай не будем говорить об этом. Есть подозрение, что для обсуждения некоторых вопросов мы еще слишком маленькие.

— А я озябла! — Поднявшись, Марлен задрала длинную юбку и припустилась к дому. — Догоняй свою пуму!

В дневнике Ремарк напишет: «Полная сладкая жизнь и немного страха, что это ненадолго».

А через два года в Ле-Туке придет война. И если Первая мировая лишь приостановила расцвет города, в отелях которого разместились военные госпитали, то германское вторжение принесло с собой многочисленные разрушения. После пятилетней оккупации Ле-Туке оказался наиболее заминированным городом Франции: саперы нашли в лесах и на пляжах более ста тысяч мин.

## 10

— Знаешь, как меня теперь звать? — Эрих стоял на террасе отеля «Мыс Антиб», щурясь от июльского солнца. — Равик. Это имя героя нашего романа, того, что я уже начал писать о нас.

— Равик? — Брови Марлен поднялись, она словно пробовала на вкус новое слово. — Подходит. Если он, конечно, будет не менее романтичен, чем твои письма. А какое имя ты дашь мне?

— Пока точно не знаю. Наверно, Жоан. Жоан Маду.

— Неплохо. Похоже на мою Эми Жолли из «Марокко». Она актриса?

— Незначительная. Она прежде всего — судьба и гибель Равика.

— Не думаю, что ты мог бы полюбить меня, если бы я пела в каком-то ресторанчике или снималась в эпизодах. — Марлен запахнула полы длинного летучего халата в нежных маках, но ветер снова отбросил их, обнажая дивные ноги.

— С такими ногами нельзя петь в барах. Они — мировое достояние, — вздохнул Эрик. — Название, кажется, определилось — «Триумфальная арка». Я теперь вовсе не могу увидеть Триумфальную арку без того, чтобы в ее величественную раму не вписывалась ты.

— Точно! Я стояла рядом в ту нашу прогулку, — Марлен поправила нарушенную ветром укладку. — В мужском костюме и шляпе. Название подходит.

«Триумф» — вообще крупное слово. Не втискивать же в название всякую мелочь.

— Впрочем, это пока лишь размышления. Послушай-ка, вот кусок. — Прищурившись, он стал читать на память:

«Свет. Снова и снова свет. Белой пеной он прилетает с горизонта, где глубокая синева моря сливается с легкой голубизной неба; он прилетает — сама бездыханность и вместе с тем глубокое дыхание; вспышка, слитая воедино с отражением...

Как он сияет над ее головой! Точно бесцветный нимб! Точно даль без перспективы. Как он обтекает ее плечи! Молоко земли Ханаанской, шелк, сотканный из лучей! В этом свете никто не наг. Кожа ловит его и отбрасывает, как утес морскую воду. Световая пена, прозрачный вихрь, тончайшее платье из светлого тумана...

Какая синь, почти бесцветная синь на горизонте, где небо погружается в воду! И эта буря света, охватывающая все море и небосклон, и эти глаза. Они никогда не были такими синими в Париже...»

— Любовь моя, единственная любовь. — Марлен прильнула к нему, отмечая все сомнения Эриха по поводу предстоящего отдыха.

Отель «Мыс Антиб» возвышался белым сказочным видением над сапфировым заливом. В этом самом фешенебельном отеле тридцатых годов собирались сливки общества, образуя летний клуб увеселения и сплетен. Взгляд поражали изысканные туалеты от лучших модельеров Европы. Шло постоянное соревнование, непрерывное дефиле. К счастью, никто еще не додумался до бесполого джинсово-маечного унисекса, женщины ошеломляли, подобно экзотическим цветам.

Свита Дитрих расположилась в соседних номерах — мистер Зибер, Тами, Мария и Ремарк. Он стал частью семейства, к чему, похоже, не был готов. Общие выходы на пляж, семейные трехчасовые ланчи в ресторане «Гнездо птицы Руф». После сиесты следовал выезд на один из званых вечеров, постоянно случавшихся в окрестных виллах. В Порто-Ронко, мечтая о поездке с Марлен в Антиб, Ремарк был убежден, что будет счастливым ковриком у ее ног. Лишь бы коснулась, овеяла, была рядом. И вот наконец двери в ее апартаменты напротив его номера и никто не следит за тем, сколько времени они проводят наедине. «Семейство» Марлен — фикция, ширма, но легко ли войти в этот заигранный спектакль новичку? Войти статистом тому, кто замахнулся на главную роль?

Марлен великолепна, ее выходы на пляж и в ресторан не срывают аплодисментов лишь потому, что это не принято. Но восхищенным взглядам нет числа. В то лето она отказалась от любимого бежевого и черного цветов и стала носить пляжные халаты от Чапорелли вызывающе-розового цвета. Кроме того — Марлен начала загорать! Ее отношение к солнцу изменили мода на загар и обретение желаемого чуда — наконец-то нашлась белошвейка, сумевшая создать к ее купальникам встреченные бюстгальтеры безупречной формы. Пляжную Дитрих величали Венерой, Афродитой, она могла заполучить любого кавалера легким манком пальца.

Несколько дней Ремарк выдержал дневной ритуал, вдохновляясь ночным уединением с Марлен. А потом начал отлынивать от светских обязанностей в «свите» королевы, работая над вдохновлявшим его сейчас «их романом» «Триумфальная арка». Он думал о том, как передать словами невыразимые и мучительные переживания глубокого взаимного чувства. Ремарку была чужда сентиментальность, а преклонение перед Марлен вызвало к безудержному восторгу. Воспевание? Пусть! Пусть будут дифирамбы и торжественные оды, пусть будет милый бред полного счастья...

Но что это?

Она возвращается поздно с очередного, затянувшегося почти до утра, банкета. Она заменяет страстные ночи с «единственным возлюбленным» мирным сном в своих апартаментах. А рядом с ней все чаще появляется загорелый, подтянутый американский посол в Англии — мистер Кеннеди. Он живет на одной из прелестных вилл с маленькой тихой женой и кучей белозубых, густоволосых детей, среди которых подрастают будущие президенты. Слава донжуана, сопровождавшая Кеннедистаршего, не была преувеличенной — его обаяние и мужественная внешность покоряли женские сердца.

Эриха бесит флирт Марлен. Она же считает излишним скрывать свое новое увлечение.

— Ты снова кокетничала с Кеннеди? — С этими словами он вошел в ее комнату, лишь только услышал, что Марлен вернулась с вечеринки.

— Ну и что? — Она гордо вздернула подбородок. — К чему эти упреки, Эрих? Ты же прекрасно знаешь, что ты — самый главный. Так почему мне немного не порезвиться? Разве мы в монастыре?

Губы Эриха сжимались, а гневные слова, бурлившие внутри, не складывались в фразы. Их душила любовь.

— В чем ты можешь обвинить меня? — Она подставила ему спину, дабы он расстегнул застежку, идущую вдоль позвоночника на длинном вечернем платье.

— Ты реже стала приходить ко мне. Ты... ты наряжаешься не для меня. И я видел, как ты смотрела на него.

Марлен засмеялась, перешагивая через упавшее на ковер платье.

— Какие-то пустяки, мелочи! Ревнивец — это противно. Это не для тебя. — Марлен ушла в ванную.

Он слышал, как она включила душ. «Комната вдруг наполнилась молчанием и напряженным ожиданием... снова водоворот, беззвучно влекущий куда-то... Неведомая пропасть по ту сторону сознания... из нее выплывает багряное облако, несущее в себе головокружение и дурман...»

— Марлен?

Он увидел ее — «светлое лицо с серыми глазами и высокими бровями, расчесанные пышные волосы — жизнь, гибкая жизнь, она тянулась к нему, как куст олеандра к свету... Она ждала, и молила, и звала: «Возьми меня! Держи!»

«...Кожа ее нежна, волосы волной затопили подушку; хотя в комнате почти совсем темно, глаза ее блестят, словно улавливая и отражая свет звезд. Она лежит, гибкая, изменчивая, зовущая... она обворожительна, прелестна, как может только быть прелестна женщина, которая тебя не любит. Внезапно он почувствовал к ней легкое отвращение — неприязнь, смешанную с острым и сильным влечением...»

Теперь, обнаружившись в нем, это ощущение будет расти: неприязнь, смешанная с вожделением, — гремучая смесь! И Жоан Маду — героиня «их романа» потянет исповедь писателя в иную сторону — от сиренево-романтических восторгов первой любовной поры к мучительному рассказу о потерянном рае.

## 11

Теперь, когда она уезжала вечерами на очередной прием, Эрих отправлялся в ночные путешествия по окрестным барам.

— Ты так много пьешь! — Она тронула пальцем отекающую кожу под его глазом.

— Я старше тебя. У меня свои правила выживания.

— Я знаю, — спокойно сказала она. — Но какое это имеет значение? Ты придумываешь что-то, и тебя совсем не волнует, что чувствую я. «Я чувствую, что снова живу, и чувствую это всем своим существом... Ничуть не задумываясь, я ради тебя с разбегу брошусь в омут...» — Марлен полулежала в шезлонге под большим полотняным зонтом. Ее ноги, словно отлитые из золота, блистали загаром, контрастируя с белоснежным купальником. Глаза Марлен следили за ними из-под полуопущенных век. — Да, брошусь из-за тебя!

— Тогда лучше под поезд, как русская Анна Каренина, — поддел ее Эрих.

— Именно! Какой бы я была Анной!

— Не сомневаюсь, великолепной. И ты непременно бросилась бы под поезд в бриллиантах и перьях.

— Ты стал ироничным и злым, Бони! Поддай мне лучше лимонад. В такую жару я не способна на перепалки.

— Это не ирония, это восхищение, милая. — Эрих наполнил и подал ей бокал.

«...Она откинула голову назад и начала пить. Ее волосы упали на плечи, и казалось, в этот миг для нее ничего кроме лимонада не существует. Равик уже раньше заметил — она всецело отдавалась тому, что делала в данную минуту. У него мелькнула смутная догадка: в этом есть не только своя прелесть, но и какая-то опасность. Она была само упоение, когда пила; сама любовь, когда любила; само

И снова прозрачный лиловый вечер, общий выезд на дружеский ужин к Кеннеди.

Чудесное семейство! Веселые, здоровые дети, милейшие родители. У Ремарка здесь истинные поклонники. К тому же писатель проявляет чрезвычайную политическую прозорливость. Кеннеди-старший с увлечением обсуждает с Эрихом международную ситуацию. Марлен, уже отлично усвоившая формулировки Ремарка, с ловкостью щеголяет ими. Но почему Эриху кажется, что ее блеск, и ум, и небрежная нега — все не для него? И Папа Джо явно гарцует перед Марлен, как бывает с женщиной, находящимся с женщиной на высшей ступени близости. Сославшись на головную боль, Ремарк возвращается в отель и, налив в бокал вина, открывает свой блокнот. В один из таких вечеров в романе появится фраза, брошенная другом Равика в адрес Жоан Маду: «Она порядочная стерва. Не б..., а именно стерва».

Семейство Дитрих вернулось поздно, и Марлен тут же вызвала Ремарка к себе.

— Не понимаю, почему ты сбежал? Так много говорили о тебе. Джо считает, что ты один из самых достойных авторов современности. После ужина мы танцевали. Марию все время приглашал Джон-младший, а потом милый мальчик танцевал и со мной. — Сидя перед зеркалом, она медленно снимала драгоценности, рассматривая себя в зеркале.

— Великолепна, — Эрих заглянул в зеркало из-за ее плеча. — Покорила все семейство.

— Не понимаю и не хочу понимать твоих намеков. Знаешь, в конце концов это надоедает! — Бросив на туалетный столик осыпанную мелкими алмазами щетку для волос, она начала снимать платье, выбираясь из золоченой чешуи, как из змеиной кожи. — Бони, перестань злиться и, пожалуйста, не уходи! — Она вошла в ванную и, не закрывая дверь, начала чистить зубы. — Потом зашла речь о Сомерсете Моэме. Объясни мне, почему он такой грязный. Я имею в виду не физическую нечистоплотность, а грязные мысли, вульгарность, может быть, он хочет эпатировать читателя?

— Как большинство талантливых гомосексуалистов, он не доверяет нормальности до такой степени, что все подвергает сомнению. Иные женщины видят соперницу в каждой встречной и стараются ее опорочить. Вот и Моэм играет такую мстительную сучку. Слава богу, что это не отражается на его писательстве.

— Он великолепно пишет! «Письмо» — потрясающий сценарий. Вот такую женщину я сыграла бы. — Она сплюнула пасту в мраморную раковину.

Ремарк вытащил из кармана халата портсигар, достал сигарету, закурил, откинувшись в кресле и скрестив ноги в домашних тапочках.

— Моя прекрасная пума, большинство неверных женщин ты сыграла бы отлично.

Отбросив полотенце, Марлен вышла в гостиную:

— Не слишком ли часто ты намекаешь мне на мой «изъян», как ты изволишь выражаться?

— Увы, и статуи божества оказываются небезупречными. Да, никто не безупречен!

— То же самое я могу сказать о тебе, величайший из великих моралистов! Ты ночами пропадаешь то в Монте-Карло, то в Каннах, возвращаясь пьяным. Я же не спрашиваю, что за шлюхи сопровождают тебя во время этих приключений.

— Я тоже тебя не спрашиваю, я знаю. Знаю, что помимо законного супруга — любезнейшего Рудольфа, с которым я провожу больше времени, чем с тобой, ты предпочитаешь общество мистера Кеннеди.

— Я думала, ты выше этого. Ты... Ты такой же, как все. Если хочешь, если тебе так уж противно — уезжай! — Гневный жест Марлен словно отшвырнул его за пределы комнаты.

— Уеду. И немедленно! — Эрих вышел, хлопнув дверью.



Вскоре к нему был делегирован Рудольф для дипломатических переговоров. Супруг сумел уладить дело — Ремарк остался.

В дневнике он запишет: «Я все больше склоняюсь к мысли уехать отсюда в Порто-Ронко, в тишину, в вечера безысходности и одиночества, когда я буду проклинать себя за то, что уехал... Все становится ненадежным, я делаюсь ранимее, понемножку превращаясь в буржуа... Я совершаю поступки нелепые и глупые. Я должен быть один. Мне это не нравится... Ночь — восторг, а вообще-то, похоже, все идет к концу...»

### 13

Однажды на пляже начался переполох: прямо в бухту направлялась великолепная трехмачтовая яхта, палубы из тикового дерева сверкали на солнце, у руля стоял красавец — бронзовый, стройный, налитая мускулатура играла под обтягивающими белыми брюками и тельняшкой. Отдав команду бросить якорь меж белых яхт, гость ступил на причал.

— Бони, смотри! Как он прекрасен! Наверно, зашел сюда к ланчу. — Марлен не отрывала от моряка блестящих глаз.

Когда путешественник спустился на берег — берег ахнул: оказалось, что это вовсе не сексапильный юноша, а плоскогрудая женщина. В те годы эксцентрических особ в среде бесившихся с жиру было предостаточно. Дама по имени Джо Карстерс оказалась канадской миллионершей, владеющей островами и яхтами. Она быстро стала ближайшей «подругой» Дитрих, обращаясь к ней так, как не позволял себе никто иной, — «красотка». Главной резиденцией Карстерс, прозванной Марией Пираткой, был огромный трейлер, следовавший по побережью. Дитрих зачастила на ланчи на шхуне, господин Зибер пропадал на пляже в окружении щебечущих поклонниц и проверял счета жены. Ремарк все чаще напивался и после очередной бурной сцены с Марлен порывался уехать.

— Ты отвратительно буржуазен, Бони! Ты не до конца понимаешь, что я не какая-то серенькая домохозяйка, уткнувшаяся в грязные тарелки и дела своего семейства. Ты же видишь: Зибер ведет себя как джентльмен! — взвизвала она от любого его намека.

— О чем ты, Марлен? Если ты сравниваешь меня и Рудольфа — это конец. Я не нужен тебе.

— Не понимаю, к чему все драматизировать? Почему нужно жить среди трагедий? Когда все так чудесно, светит солнце и ты — мой единственный. Единственно любимый! — Марлен обвивала его шею своими дивными руками, и буря утихала.

«Она спала обняв его так крепко, словно хотела удержать его навсегда. Она спала глубоким сном, и он чувствовал на своей груди ее легкое ровное дыхание. Он уснул не сразу. Отель пробуждался... Обняв рукой плечи, Равик чувствовал дремотное тепло ее кожи, а когда поворачивал голову, видел ее безмятежно преданное, чистое, как сама невинность, лицо. Боготворить или оставлять? — подумал он. Громкие слова. У кого бы хватило на это сил? Да и кто бы захотел это сделать?»

Марлен не явилась к ланчу. Едва высидев трехчасовое застолье в компании семейства, Эрих «поехал в Ниццу и Монте-Карло, а затем в ВилльФранш. Он любил эту старую небольшую гавань и немного посидел за столиком перед одним из бистро на набережной. Потом побродил по парку возле казино Монте-Карло и по кладбищу самоубийц, расположенному в горах высоко над морем. Отыскав одну из могил, он долго стоял над ней, чему-то улыбаясь, затем узкими улочками старой Ниццы через площади, украшенные монументами, поехал в новый город; потом вернулся в Канны, а из Канн направился вдоль побережья туда, где красные скалы и где рыбацкие поселки носят библейские названия».

Он вернулся в густеющих сумерках, но в отеле ему сообщили, что Марлен не вернется к ужину. Эрих достал свой блокнот и продолжил описание тоски Равика. «Равик спустился в ресторан, он выбрал столик на террасе, напоминающий корабельную палубу. Внизу под ним пенился прибой. С горизонта, объятая пламенем заката, набегали волны... Волны все

накатывались и накатывались, принимая на свои гибкие спины опускающиеся сумерки и расплескивая их разноцветной пеной на прибрежные скалы.

Равик долго сидел на террасе. Он ощущал какой-то холод и внутреннее одиночество. Трезво и бесстрастно размышлял он о будущем. Оттяжка возможна — он это знал — мало ли существует уловок и шахматных ходов. Но он знал также, что никогда

не воспользуется ими. Все зашло слишком далеко. Уловки хороши для мелких интрижек. Здесь же оставалось лишь одно — выстоять, выстоять до конца, не поддаваясь самообману и не прибегая к уловкам.

Равик поднял на свет бокал с прозрачным легким вином Прованса. Прохладный вечер, терраса, потонувшая в грохоте ночного прибоя, небо в улыбке закатного солнца, полное колокольного перезвона далеких звезд...

Все неминуемо оборвется. В ее жизни, такой чужой, многое еще только начинается. Разве ее удержишь? Невинно и ни с чем не считаясь, словно растение на свету, тянется она к соблазнам, к пестрому многообразию легкой жизни. Ей хочется будущего, а я могу предложить ей только крохи жалкого настоящего...»

Подобно своему герою, Ремарк запрещал себе цепляться за Марлен, в очередной раз собирая чемоданы. Но появлялась она, и все начиналось сначала.

Ее чары были непобедимы. Осознавая весь ужас своего положения, Ремарк продолжал верить в особые чувства Марлен к нему, в исключительность их любви, не сравнимой с ее быстротечными увлечениями. Но доза алкоголя росла.

Ночью он вновь отправлялся в поездку по барам побережья.

## 14

...На ужине у Кеннеди Марлен выглядела печальной. Печаль так дивно шла к ее скульптурному лицу, что Папа Джо измучился неизвестностью. Он слышал про связь Марлен с лесбиянкой Карстерс, но даже если и верил слухам, то еще сильнее желал эту женщину. Только бы она не порвала с ним.

Джон увел Марлен на террасу, где среди кустов белых камелий стояли диваны. Черная гладь моря сливалась с небесным бархатом, на котором, как алмазные броши на платье, сверкали огни проходивших кораблей. Слегка прислонясь к колонне, Марлен смотрела вдаль. Она казалась высеченной из мрамора — неподвижная, исполненная драматизма, фигура скорби. Безупречно элегантный политик с серебристыми нитями в густых рыжеватых волосах и ослепительной улыбкой на загорелом лице осторожно поднял с парапета и поцеловал ее руку.

— Ты сегодня печальна, девочка моя. Весь вечер я наблюдал за тобой и думал, что не видел прекрасней печали. Хотелось писать стихи! В колледже я писал, и, между прочим, неплохие. — Он сжал ее кисть. — Что случилось, милая? Это касается меня?

— Ах, нет, Джо.

— Ничем здесь помочь нельзя. — Она повернулась к нему, опершись на балюстраду, и подняла глаза. — Мистер Ремарк... Он страшно ревнует. Ревнует ко всему на свете! Я измучилась...

— Мне Ремарк нравится. Джентльмен и отличный писатель. Конечно же, ты свела его с ума, Марлен! Но это так приятно — сойти с ума от любви!

— Если бы не его порок! Бони пьет. Это ужасно. Наша дружба налагает на меня ответственность. Что я могу подумать, когда он не возвращается ночью в отель? Я сажусь в машину и объезжаю все побережье от Монте-Карло до Канн, разыскивая его в барах! Это так страшно! В каком состоянии мне приходилось привозить его! — Марлен закрыла лицо руками.

— Напивается — что за беда! Мне кажется, это порок всех крупных писателей. Не стоит так отчаиваться. Без вина, по-видимому, не приманишь вдохновения.

— Да, он пишет сейчас интересный роман, посвященный мне. Только зачем столько пить? Все уже знают, что Фицджеральд — пьяница, а Хемингуэй пьет только для того, чтобы утвердить себя в глазах окружающих крутым мужчиной. Но Бони такой тонкий и восприимчивый! Он так раним! Он не может валяться в канаве в собственной блевотине. А если его арестуют? Журналисты немедля раздуют скандал! Это испортит его репутацию.

Марлен достала из портсигара сигарету и подождала, пока Джо поднесет зажигалку. Блестя зрачками, отразившими пламя, заглянула ему в глаза:

— Мне так спокойно с тобой, милый.

— Я поеду вместе с тобой! Уму непостижимо: Марлен Дитрих сражается с пьяницей в баре! — Джо пожал широкими плечами и налился краской возмущения.

— Не надо горячиться, милый... — Отставив руку с сигаретой, Марлен приблизилась к нему и прижалась всем телом — ее коронный трюк, работавший безошибочно. — Ты такой надежный, Джо!

О своих страданиях с пьянствующим Ремарком она рассказывала всем своим знакомым. Он не знал этого и винил себя за боль, причиняемую Марлен.

## 15

В сентябре семейство Дитрих и Ремарк возвращаются в Париж. Марлен и Эрих останавливаются в отеле «Пренс де Галль». За своей «красоткой» последовала и Пиратка Джо Карстерс. Ремарк все чаще оставался в своем номере, прислушиваясь к звуку ее шагов. И вот — дверь распахивается, на пороге, как в темной раме, появилась она — тонкий золотой луч, натянутая струна.

— Марлен, я уезжаю в Порто-Ронко, — встав напротив, он предъявил заранее подготовленный ультиматум. — Мне все это надоело.

— Что именно? — Она начала стягивать длинные перчатки, напряглась, готовясь к сражению. — Может, все же скажешь что?

Эрих криво усмехнулся — он знал, что в любви нельзя задавать много вопросов. И тем более — требовать ответа. Знал, что ему будет больно, но желал этого, беря ранау.

— Хочешь, чтобы я назвал вещи своими именами? Изволь. Мне не по силам понять сочетание твоей прусской благопристойности и эротической вседозволенности. Мне не постичь твоего двоемыслия, совмещающего якобы любовь ко мне с посторонними странностями увлечениями... Связь с Джо Карстерс — это уже слишком.

— А что «не слишком»? — Она нажала на выключатель, зажигая люстры. После кабинетной полутьмы Эрих ощутил себя на сцене участником глупой комедии.

— Все — слишком! Быть постоянным довеском к твоему семейному обозу. Делать вид, что не замечаю твоих увлечений и флиртов. Быть брюзгливым стариком, которого дурут вертлявая Коломбина.

— Коломбина? — Марлен надрывно рассмеялась. — Да, я актриса! А что бы ты хотел? Если тебе нужна серенькая домашняя клуша, ищи ее среди посудомоек и продавщиц галантереи. Я — Марлен Дитрих!

— А я — мирный обыватель и не выношу света софитов и водевильных эффектов. — Он щелкнул выключателем. Комната погрузилась во тьму, на ковер легли пятна от фонаря. Марлен тяжело дышала, готовясь к атаке.

«Взволнованная, гневная, задыхающаяся, она стояла перед ним во мраке мягкой синей ночи; лунный свет играл в ее волосах, а вишнево-красные губы на бледном смелом лице казались почти черными... Он чувствовал, что придет неотвратимое — медленно, исподволь, со всей мелкой ложью, унижениями и дрызгами; ему захотелось расстаться с ней прежде, чем все это начнется...»

— Да, я — Дитрих, и этим многое сказано. Если ты не хочешь понять, Бони, мне остается только уйти. — Медленно повернувшись, она направилась к двери.

«Она уйдет. Она уйдет. Она уже в дверях. Что-то дрогнуло в нем. Она уходит. Равик приподнялся. Вдруг все стало невыносимым, невыносимым. Всего лишь одну ночь, одну ночь еще, один раз увидеть ее спящее лицо у себя на плече... завтра можно будет снова бороться... Один только раз услышать рядом с собой ее дыхание. Один только раз испытать сладостную иллюзию падения, обворожительный обман. Не уходи, не уходи, мы умираем в муках и живем в муках, не уходи, не уходи... Что у меня осталось? Зачем мне все мое мужество? Куда нас несет?... Только ты одна реальна! Светлый яркий сон!.. Только один еще раз! Только одну еще искорку вечности! Для кого и зачем я берегу себя? Для какой темной безызвестности? Я погребен заживо, я пропал... И вот вздымается волна и вот-вот захлестнет меня...

— Жоан, — сказал он.

Она повернулась. Лицо ее мгновенно озарилось каким-то диким безысходным блеском. Сбросив с себя одежду, она бросилась к нему».

## 16

Весь октябрь в Париже Ремарк лечит ишиас, разыгравшийся с новой силой, а Марлен, уже тяготившаяся связью с миллионершей, наконец порывает с ней. В начале ноября Марлен едет с Ремарком в Шартр, где под сводами знаменитого собора клянется в вечной любви к нему. Возможно, тогда произошел и обмен обручальными кольцами. Ремарк снова пылает страстью и, проводив Марлен в Америку, вскоре уезжает в Порто-Ронко, чтобы работать над романами «Триумфальная арка» и «Возлюби ближнего своего» («Жизнь взаимы»). А главное — писать письма к ней.

Его ежедневные послания — заклинания, обращенные не столько к Марлен, сколько к самому себе. Эрих всеми силами, вопреки очевидности, держится за созданный миф о Великой любви и не снижает накала чувств. Его письма похожи на стоны смертельно раненного.

«Ты, которую я люблю, непостижимый подарок жизни, ты, лежавшая со мной кожа к коже, когда дыхание сплетено с дыханием, ты, сделавшая меня более просветленным, и более бесстыдным, и более тоскующим, ты, нежная возлюбленная, научившая меня любить ночи и сон, ты... существуешь ли ты еще вообще и появишься ли ты все-таки вновь?...

Ты, которую я люблю, которая сидит глубже моего сердца, ты, перед которой мысли мои становятся бессмысленными, ты, волнующая мою кровь, ты, возлюбленная, — появишься ли ты снова?»

Он придумывает некоего милого персонажа — восьмилетнего Альфреда, посылающего письма «тетушке Лене». Этому сообразительному пареньку, пишущему со множеством орфографических ошибок, страдающий писатель поручает высказывать то, о чем сам предпочитает теперь молчать.

«Любимая тетушка Лена, я все еще здесь; не могу же я оставить дядюшку Равика в полном одиночестве...

Идет дождь... Он, правда, говорит, что совсем не грустит. Но я знаю, когда с ним это — когда он сидит совсем тихий. Тетушка Лена, я думаю, ему тебя не хватает. Приезжай к нам опять! Или нам приехать?...

Ай лав ю, тетушка Лена».

«...Странное мгновение: достаешь костюм из шкафа и обнаруживаешь

носовой платок со следами губной помады, забытый в нем с парижских времен; и, милая, ничего не могу с собой поделаться, комната начинает вокруг покачиваться, и здесь твой запах, и твои волосы, и твои нежные губы, и я ощущаю, как шумит и беспомощно дрожит моя кровь, — и я удивляюсь, что еще держусь на ногах, хотя чувство такое, будто в колени попала молния и опрокинула меня».

«Я часто целый день предвкушаю, что вечером буду писать тебе, а иногда даже не выдерживаю и пишу тебе в середине дня. Это похоже на вечный разговор, хотя с моей стороны это всего лишь вечный монолог».

Рождество 1938 года.

«...Вечером я наливая себе на балконе бокал и чокался с месяцем, и смотрел поверх черных лесов на синие горы, и был молод, как в восемнадцать лет. Какое это чувство — быть стройным, собранным, молодым и полным ожиданий! Сколько нежности в этом, милая, нежности и готовности к большому счастью. Вера — это дело не только верующих, это дело и неверующих тоже. И счастье принадлежит не только людям веселым по природе своей, оно принадлежит и знающим. Нет смеха непорочнее и чище, чем у людей, которым знакомо глубочайшее горе. А любовь? Кто способен полюбить тебя сильнее, чем я, милая...»

## 17

В гостиной дома Дитрих в Беверли-Хиллз сияли хрустальные подвески люстр, мягко светились бра. Зеркала, вазы, статуэтки словно выступили на авансцену. Полнейший апофеоз к явлению богини. Она стояла у рояля — неземное видение, туманная мечта. Белый шифон длинного платья, расшитый вручную стеклярусом, прилегал к телу, подобно второй коже. Многочисленные шкурки белой лисицы, сшитые с ярдами шифона, каскадом падали к ногам — мечта, завернутая в облака.

В руке, затянутой в тонкую перчатку, дрожал листок, прибывший из Порто-Ронко. Голос, читавший строки письма, опускался до вибрирующего шепота. Сидевший в кресле молодой красавец в щегольском смокинге задумчиво склонил голову, подперев ее рукой с массивным перстнем, украшенным монограммой.

«Всего три месяца моей крови освящены тобой, а девять других протекают в тени... прошло девять темных месяцев, не несущих твоего имени, не ведающих ни прикосновения твоих рук, ни твоего дыхания и твоего сердца, ни твоего молчания и твоих призывов, ни твоего возмущения, ни твоего сна... Ах, приди и взойди...»

Марлен читала. Гость, тактично рассматривавший носки своих лаковых туфель, перевел взгляд на фамильный перстень с затейливым переплетением букв «ДФ». Дуглас Фербенкс-младший — сын Дугласа Фербенкса, стоявшего с Мэри Пикфорд у истоков голливудской славы, тоже стал актером. Плейбой, остряк, блестящий рассказчик, он не мог не привлечь внимания Марлен. Роман длился недолго, но вернувшаяся в Голливуд Марлен вновь позвала его, желая продолжить начавшуюся год назад связь.

— А твой писатель основательно влип, — сказал Дуглас. — Наверняка предлагает выйти за него замуж. Великий и наивный.

Дуглас, хорошо знавший о судьбе любовных писем, попадавших к Марлен, ограничивался шутливыми или ироническими посланиями. А еще лучше — без них.

— Это невероятный, редкий человек... И такой огромный талант! Он потрясающе тонок — так глубоко чувствовать в наше рациональное время дано не многим... Но я же не

могу разрушить семью! — Марлен уронила письмо на крышку рояля у вазы с туберозами, только что преподнесенными Дугласом.

— Что бы там ни говорили, в некоторых случаях семья бывает очень удобна. — Значительно улыбнувшись, Дуглас встал, предлагая Марлен руку. — Извольте, мадам. Нас уже заждались.

Марлен позвонила горничной:

— Муаровую накидку с капюшоном. Или ехать прямо так? — Она обвила лисий мех вокруг шеи и с мучительным сомнением посмотрела на Дугласа. — Так лучше?

— Солнце солнц, или как там пишет твой сочинитель, ты ослепительна. Что может сказать слепой?

— Накидку, Лора. Пусть лежит в машине на всякий случай. — Взяв у горничной и бросив Дугласу шуршащий муар, она направилась к дверям.

## 18

Эрих продолжает писать. За послания к Марлен он держится, как за спасательный круг. Кажется, стоит упустить любовь, и уже не выжить. Он парализован страстью и торопится подчинить своим чувствам ее — изменчивую, неуловимую, необходимую, как воздух.

«Сегодня утром я был просто парализован страстной тоской по тебе. Мне казалось, что я не смогу выпрямить руки, так сильно они сжались, чтобы обнять тебя; у меня было такое состояние, что мне почудилось, будто мои руки и грудь вот-вот разорвутся и хлынет кровь.

А потом я пошел с собаками в горы, здесь есть дорога, проложенная еще во времена древнего Рима... И когда я смотрел вниз... и нас чуть было не сорвало ветром, когда я, милая, снова выпрямился во весь рост, мне показалось, что я растаю, как снег, любовь так и сочилась из меня, стоявшего в блестящем от намерзшего снега пальто с развевающимися полами, и я чуть не ослеп — так мало из окружающего меня мира воспринимали мои глаза, а я все таял и таял от любви...»

Однажды прибывший из Америки знакомый рассказал Эриху, что Дитрих читала ему письма Ремарка. Вспыхнув от негодования, Эрих был готов уничтожить лжеца.

— Да их читают все кому не лень! — засмеялся доброжелатель, разгоряченный вином.

Ремарк ударом свалил клеветника — он умел драться. А потом написал Марлен: «дал затрещину типу, который сказал, будто ты читала ему письма к тебе...»

«Ах, небесное созданье! Не знаю, кому ты, собственно, и с кем изменяешь — ты всегда обманывала других со мной, мой ангел, ибо как ты могла обманывать меня, если я тебе позволял абсолютно все... Ты должна жить, жить надежно и в то же время легко, только и всего. В упоении и вне себя от радости, как наилегчайшие в мире вещи: облака, бабочки и мечты...»

## 19

Наконец она предлагает ему приехать в Голливуд. Ей нужен достойный кавалер. Она хорошо представляет себе масштаб личности Ремарка и величину его славы. Эти составляющие играют немалую роль в ее увлеченности Эрихом, в той настойчивости, с которой Марлен хочет удержать его. Хотя сделать это непросто при ее образе жизни и ранимости Эриха. Он все еще считает, что не сможет написать ничего более интересного, чем его военный роман. Он спасается от депрессий алкоголем, он поднял планку своей любви на такую высоту, что Марлен трудно удержать ее, особенно на расстоянии, когда

магию ее образа сохраняет лишь память.

В марте 1939 года Ремарк едет в Париж, затем из Шербурга отплывает в Нью-Йорк и оттуда в Чикаго. Еще рывок — и солнечный Лос-Анджелес шелестит перед ним пальмами набережной.

Нетерпение, предшествующее встрече, растет, сердце ускоряет ритм. И наконец Эрих в Беверли-Хиллз! Марлен арендовала для него бунгало напротив собственного дома, она ждала, подготовив все лучшим образом. Стопка домашних халатов, элегантных пуловеров, лохматый шотландский плед на случай прострела поясницы и, конечно же, — отменный, собственноручно приготовленный обед.

— Не верю, что мы вместе. Вот сейчас проснусь, и все исчезнет. — Сидя за столом напротив Марлен, Эрих не отрывал от нее взгляда.

Сияющая, свежая, в белых брюках и светлой шелковой рубашке мужского покроя, она похожа на прелестного юношу. Двери в сад распахнуты, а там буйство цветов, южной зелени, каскады жизнерадостного солнца.

— Ты плохо ешь, мой любимый, я так старалась! Это французское жаркое понравилось тебе в Париже — я все запомнила. Разве получилось хуже, чем у знаменитого шеф-повара «Ланкастера»?

На лице Ремарка отобразилось блаженство:

— Неподражаемо. Но тебе трудно удивить меня, ведь я давно понял, что ты не из породы смертных. Ты — божество.

— Просто-напросто взяла кулинарные книги и выучилась! Конечно, приходится повозиться у плиты. Зато мои гости всегда были сыты и веселы. Людей надо вкусно кормить, если ждешь от них хорошего отношения.

— Ты знаешь, что я жду от тебя. — Эрих отложил вилку и нож. — Очень давно жду.

— Я твоя, милый. Твоя навсегда.

«— Дорогая, — сказал он почти с нежностью. — Ты не останешься со мной. Нельзя запереть ветер и воду. Ты не создана, чтобы любить кого-то одного.

— Но и ты тоже.

— Я? — Равик допил рюмку. — Что ты знаешь обо мне? Что знаешь о человеке, в чью жизнь врывается любовь? Как дешево стоят в сравнении со всем этим твои жалкие восторги...

— Ты любишь меня, Равик, — сказала она, и это было лишь наполовину вопросом.

— Да. Но я делаю все, чтобы избавиться от тебя, — проговорил он спокойно и ровно, словно речь шла не о них самих, а о каких-то посторонних людях.

Не обратив внимания на его слова, она продолжала:

— Я не могу себе представить, что мы когда-нибудь расстанемся. На время — возможно. Только не навсегда. Только не навсегда, — повторила она, и дрожь пробежала у нее по телу. — Никогда — какое же это страшное слово. Я не могу представить, что мы никогда больше не будем вместе».

— «Когда-нибудь» — это очень нескоро, — он порывисто обнял Марлен. — У нас еще есть время.

Конечно, уединенной жизни с Марлен в Беверли-Хиллз Ремарк не ждал. Но он не предполагал, что череда голливудских приемов и презентаций кинофильмов, на которые он в качестве европейской знаменитости сопровождал Марлен, так быстро начнет раздражать его. Когда-то юный провинциал всеми силами стремился быть замеченным в богемных кругах Берлина. Теперь ему не надо перешивать дешевую одежду, носить монокль и печатать визитки с баронским титулом для пущей привлекательности. Он богат, элегантен, красив, знаменит и вдобавок сопровождает самую невероятную и желанную женщину на земле. Но почему все это надо повторять себе еще и еще раз, чтобы не поддаваться гнетущему

унынию?

Марлен украшала себя Ремарком. Он был не только знатоком вин, способным блеснуть своими дегустаторскими способностями, но обладал великолепным политическим чутьем, обеспечивающим ему роль интересного собеседника в любом обществе. Газеты и журналы публиковали фотографии яркой пары, вновь и вновь представляя американцам европейскую знаменитость, изливая потоки восхищения миссис Дитрих.

— Милый, на этом фото ты выглядишь каким-то одутловатым. — Марлен отбросила газету. — Эти идиоты способны изуродовать кого угодно. Знаешь, сколько мне приходилось биться за безупречность своего изображения? Но процесс перепечатки плохих снимков я не способна держать под контролем. Надо все время следить за твоим видом. Пожалуйста, не жарься на солнце, ты выходишь на снимках рядом со мной слишком загорелым. Здесь и так полно негров.

— Вчера ты сказала, что я выгляжу болезненнобледным. — Эрих доедал знаменитую яичницу-болтунью — они завтракали на террасе, увитой цветущими розами. — Рядом с тобой трудно блистать внешними данными. Даже розы смахивают на садовый сорняк.

— Напротив, дорогой, я нахожу, что мы замечательно смотримся вместе. — Марлен продолжала разглядывать газеты. — Посмотри сюда, это на просмотре «Унесенных ветром» — мое платье выиграло на фоне белой стены! Я же говорила, что нужно надеть черное. И сколько громких слов! Похоже, твое общество идет на пользу моему реноме.

— Зато мне эти фотографии навредили больше, чем любые разгромные статьи. Меня поедом едят в литературной среде. Пишут, что вместо политической борьбы и выступлений против фашизма я — эмигрант — предпочитаю обжираться на великосветских приемах в обществе... в обществе кинозвезд. Эта подчеркнуто роскошная жизнь, расписываемая журналистами, делает меня подозрительным для писателей-эмигрантов. Многие из них, между прочим, пребывают в нищете.

— Бред завистников! Лишь когда сам сдаешься и ведешь себя как несчастный беженец, потерпевший крах, как разбитый по всем статьям человек, вот тогда они действительно победили. Нищета! Лень и нежелание бороться. Разве писатели не понимают, что сохранить достоинство в изгнании — это большое мужество? — Марлен с грохотом собрала со стола посуду.

— Мужество... Кажется, я плохо теперь знаю, что это такое... Я слишком сладко живу, милая. — Он поднял упавшую ложку и усмехнулся ее самодовольной позолоте.

В Голливуде Ремарка принимали как европейскую знаменитость. Пять его книг были экранизированы, в них играли крупные звезды. Финансовые дела шли превосходно. Он пользовался успехом у известных актрис, в числе которых, по слухам, была и прославленная Грета Гарбо. Но мишурный блеск киностолицы раздражал Ремарка. Люди казались ему фальшивыми и непомерно тщеславными. Местная европейская колония во главе с Томасом Манном его не жаловала. Хотя с Марлен было трудно не согласиться: в мишурном мире светского общества элегантность Ремарка и его манеры были прямой политической демонстрацией, доказывающей общественности, что нацистам еще далеко до победы. Эмигрант с португальским паспортом, он позволял себе наслаждаться жизнью. Писатель, книги которого на родине пылали в костре, продолжал работать. Ремарк избегал громких акций протеста. Тихо, без публичных жестов, он помогал романисту Теодору Пливье и поэту Альберту Эренштейну, пожизненно посылал им «маленькие синие листочки» — свои чеки.

Девятого июня Дитрих и Ремарк вместе едут в Париж. Пять суток пути на роскошном океанском лайнере «Нормандия», демонстрировавшем величайшие художественные достижения нации. Этот корабль, составлявший гордость страны, отразил в миниатюре ее стиль, вкус, качество и художественное совершенство. Дитрих занимала один из четырех



апартаментов гранд-люкс с индивидуальным дизайном, выполненным ведущими мастерами того времени.

Ночью он смотрел на огромную луну, висевшую над океаном и заливавшую спальню серебряным светом. Щека Марлен на его плече, тихое сопение ребенка. Она совсем маленькая, когда лежит так, прильнув, разметав на подушке волосы. Скромница в непрменной ночной рубашке. Она здесь, она с ним, но мгновение не остановишь. Можно лишь высечь его в памяти, как на гранитной плите, для вечного пользования. Сколько раз в ПортоРонко он воскрешал устремленные в вечность минуты близости и оплакивал их, изнемогая от бессилия разлуки... Пресыщение... Должно же когда-то прийти пресыщение, и одиночество перестанет болеть, как свежая рана. Пресыщение всегда приходит — раньше или позже. Ремарк это знал. С Марлен по-другому... Три года постоянного огня, и ни капли пресыщения. И все еще влечет не рассекреченная, постоянно манящая тайна ее магнетизма...

«Это граничит с безумием, это маленькое чудо, что нас прибило друг к другу, как зерно к зерну, ведь мы оба делали все, чтобы этого не случилось, — прошептал он, — но всю свою жизнь до нашей встречи я ощущал тебя у себя под кожей, и не боялся встречи, и страстно желал ее. Я пытался забыть о предназначении великой любви и знал, что никогда не смогу забыть об этом совсем. И буду ждать...»

— Бони, Бони, ну что ты все время бормочешь... — Не открывая глаз, Марлен перевернулась на другой бок и свернулась калачиком. А луна продолжала светить ненужным фонарем. Равнодушный, холодный лик...

Плавающий дворец «Нормандия» предлагал пассажирам ассортимент удовольствий из набора «сладкая жизнь». Колоссальный ресторан для пассажиров первого класса мог разместить семьсот человек. Под потолком парили грозди лампочек, объединенные в виноградоподобные люстры, повсюду серебро, фарфор лучших марок, мерцание хрусталя бакара.

В круглом главном вестибюле в решетках из филигранного металлического узора, украшенного вкраплениями позолоченных зубчатых раковин, сновали четыре вместительных лифта.

Элегантную комнату для писем оживляли фигуры тигров из тонких золотых пластинок. Звери молча «пили воду» из золоченых водоемов. В салоне для курения стояли стулья, обитые терракотовой замшей, а настенные росписи изображали сцены из жизни Древнего Египта. В зимнем саду сладко и пряно благоухали искусно воспроизведенные джунгли, каскады орхидей и редких видов папоротников почти скрывали витые плетеные кресла. За изогнутой стеклянной стеной стояла бездонная чернота ночного неба и серебрился океан, качавший на волнах звезды.

— Я столько раз плавала на этом корабле, что чувствую себя здесь как дома. — Марлен подхватила за лапку падающую с плеч черную лисицу. После ужина они заглянули в зимний сад. — Ты же знаешь, я не переносу самолеты — только и жду, что объявят об очередной катастрофе.

— Мне теперь тоже приходится трястись за свою шкуру, поскольку одна невероятная женщина не может без меня жить. — Эрих был в хорошем расположении духа: Марлен путешествовала без свиты, а впереди их ждал Париж.

— Пойдем-ка лучше домой, Бони, такое впечатление, что мы в парикмахерской, слишком много сладких запахов. Знаешь, иногда хочется понюхать тушеной кислой капусты. Кстати, обожаю!

Вечером в кинозале Большого салона был объявлен показ фильма «Желание», снятого в 1936 году с Дитрих в главной роли.

С высоты спускающейся в салон лестницы Марлен оглядела зал: маленький Версаль, фойе с фонтанами заполняла публика в туалетах экстра-класса. Мужчины в белых бабочках и фраках, дамы в платьях с длинными шлейфами.

— Похоже на массовку в оперетте. Не знаешь, почему некрасивые женщины так любят яркие цвета и всяческие финтифлюшки?

— Чтобы их кто-нибудь заметил и возжелал. — Эрих был чрезвычайно элегантен в великолепном фраке. — Ведь бедняжки не могут даже на один день взять напрокат такое лицо, как у моей дамы.

— Мое лицо? Ну, это уже слишком. Прежде всего им не хватает моего вкуса, — поддерживая подол узкого бежево-золотистого платья, она ступила на лестницу...

Во время показа фильма Дитрих давала комментарии, не понижая голоса.

— Так... Они все-таки не вырезали этот кадр. Еще бы, кто же вырежет крупный план Дитрих в шляпе с такими перьями. Да, Тревис был неподражаем!.. Посмотри, Бони! Вот этот долгий план запоминается великолепно! Ты видишь, как падает шифон? А игра света на опушке рукава? Сногшибательно!.. Конечно, как всегда, они не знают, чем все закончить. А вот туфли хороши. Туфли хороши во всей картине. Тебе понравился фильм, Бони?

— Милая, то белое платье на балконе, когда ты грустишь одна, — шедевр. А вообще... Несколько сентиментально.

— Ха! Я же никогда не претендовала на «Оскара»! И слава богу. Знаешь, какие роли гарантируют «Оскара»? Известные библейские персонажи, священники, а также жертвы таких недугов и пороков, как слепота, глухота, немота (все это вместе или отдельно), пьянство, безумие, шизофрения и другие душевные заболевания, если все это сыграно в получившем успех фильме.

— Ты поразительно точна! — Эрих рассмеялся. — В литературе похожая картина — изображение темных сторон действительности всегда претендует на «серьезное искусство».

— Чем трагичнее ситуация, тем вернее присуждение «Оскара». Можно не сомневаться, воплощение горестных событий будет рассматриваться как особенно трудное и достойное премии!

Реплики Марлен были слышны во всем зале. Когда фильм закончился и медленно загорелся свет, публика стоя зааплодировала Марлен.

— Думаю, это дань не столько фильму, сколько твоему разоблачению секретов киноакадемии, — шепнул Эрих, направляясь с Марлен к выходу в сопровождении свиты зрителей.

— Бони, ты видел это сообщение? — Марлен сидела у низкого столика в гостиной люкса, разбросав по ковру вороха газет и журналов. — Нет, ты только взгляни на них! Уродина и какой-то тщедушный лузер заделали пятерых детишек! Пять одновременно. Вот радость-то. Теперь у них будут подрастать пятеро дурнушек. А какое ликование прессы! Можно подумать, это какой-то подвиг. Но сколько возни с такой кучей детей! Милый, ты бы не мог запросить у радиста их адрес? Я бы хотела как-то помочь им. А что? Пожить с ними и понянчить малышей, пока они хоть немного подрастут!

— Марлен? — Эрих заглянул в ее глаза. В них горела самоотверженность. Она вовсе не шутила. В каких-то случаях Марлен была столь наивна, что можно было бы заподозрить ее в глупости или лицемерии. Но Эрих имел возможность убедиться в уме Марлен и вспышках отнюдь не лицемерной искренности. Он не стал спорить.

— Отличная мысль! Я узнаю адрес счастливого семейства и, как только мы причалим, ты сможешь тут же выехать им на помощь. — Он посмотрел фото в газете. — Даже ревновать не стану, отец пятерняшек, и правда, не блещет красотой. — Отбросив газету, Эрих сел рядом с Марлен. — А что, радость моя, ты бы родила мне хоть одного? Я не особый детолюб. Но нашего малыша... Эх! — Эрих поднялся, отброшенный взглядом Марлен, и отошел к окну.

— Почему ты всегда придумываешь что-то несбыточное? Я все чаще начинаю понимать, что тебе нужна вовсе не я. — Встав у рояля, Марлен начала перебирать клавиши.

— Ты. Мне нужна только ты. Вся ты. Твоя наивность, твоя злость, твой голос.

— Когда мыплыли в этом номере в прошлом году, я повторяла песни, которые должна была записать в Париже. — Марлен села к роялю и принялась напевать.

Отсутствие серьезного голосового диапазона заставляло ее произносить текст речитативом. Но Марлен обладала редким умением превращать недостатки в свои достоинства. Ее шепот, ее паузы, смены ритма были столь выразительны, что у Эриха застрял в горле ком. Он откашлялся.

— Это моя любимая баллада о потерянном сердце. Отлично звучит немецкий, правда?

— Ты сама не знаешь, какая в тебе сила! — Вскочив, Ремарк энергично ходил по комнате. — Возможно, тебя ждут в кино великие роли. Но, поверь мне: ты грандиозно поешь! Ты... Ты большая актриса!

— И ужасно хитрая. В то время как другие корпели над гаммами под опекой учителей, я никогда не училась вокалу. Я просто проговариваю текст, и знаешь, все просто потрясены!

— Отлично, что у тебя нет стандартно поставленного голоса! Это заставляет тебя сохранять простоту и петь душой. Наверно... нет точно: это совершенно гениально!

...Корабль плыл, величественно рассекая океан, полный света, музыки, уникальной роскоши, наслаждений и грез... А сколько он вез надежд, радужных планов, простирившихся аж до скончания века. Шел 1939 год.

Через несколько месяцев «Нормандия» будет приписана к Нью-Йоркскому порту и, претерпев полную реконструкцию, превратится в военный корабль. А вскоре, лишенный былых украшений, боевой корабль накренится, загорится и затонет, оставшись лишь в памяти, как и многие радости и несбывшиеся надежды мирных лет.

## 22

В Париже они снимают отдельные номера в отеле «Принс де Галль» и проводят там вместе две недели. Затем Ремарк на несколько дней уезжает в Порто-Ронко, дабы подготовить к отправке в Америку свои коллекции. Он уже сомневается, что Швейцарии удастся устоять перед Гитлером и сохранить нейтралитет. В английском журнале «Кольерс» начинается публикация романа «Возлюби ближнего своего». «Триумфальная арка» пока отложена. Реальность развития отношений с Марлен не укладывается в идиллические параметры.

В июне 1939 года газеты всего мира напечатали снимок «Дитрих принимает гражданство США». Дитрих в строгом костюме, фетровой шляпе и перчатках небрежно облокотилась о стол судьи, принимающего «Присягу на верность».

Любимая берлинская газета доктора Геббельса напечатала комментарии к снимку: «Немецкая киноактриса Марлен Дитрих прожила так много лет среди евреев в Голливуде, что теперь приняла американское гражданство... Об отношении еврейского судьи к этому событию можно судить по снимку; он позирует в рубашке, принимая от Дитрих присягу, которой она предает свою родину».

Дитрих счастлива: гражданкой США стала и ее дочь Мария. Это произошло как раз вовремя, ведь Европа, похоже, капитулирует перед Гитлером. Но мрачные размышления не для мисс Дитрих. Летом 1939 года она вновь со всем семейством едет в Антиб.

«Над Францией сгустились тучи, над Европой бушевала буря, но эта узкая полоска жизни, казалось, была в стороне от всего. О ней словно позабыли, здесь еще бился свой особый пульс жизни. Если по ту сторону гор вся страна уже тонула в сером сумраке, подернулась дымкой грядущей беды, недобрых предчувствий, нависшей опасности, то здесь сверкало веселое солнце, и вся накипь умирающего мира стекалась сюда под его живительные лучи...

Мотыльки и мошкара слетелись на последний огонек и пляшут... Суетливый танец комаров, глупый, как легкая музыка баров и кафе. Крохотный мирок, отживающий свое, как бабочка в октябре, чьи легкие крылышки уже прихватило морозом. Все это еще танцует, болтает, флиртует, любит, изменяет, фиглярствует, пока не налетит великий шквал и не зазвонит коса смерти...» — напишет в своем романе об этом лете Ремарк.

На пляже и в ресторане все та же демонстрация туалетов, та же круговерть увеселений.

Эрих прибыл из Швейцарии на своей любимой «ланчии», предупредив любимую по телефону из Канн. Марлен в легких шелках нежно-сиреневого туалета, летящем шарфе и атласной чалме фиалковых тонов встречала прибывшего у подъезда отеля.

— Наконец-то, Бони! Как я истосковалась! — Она поцеловала Ремарка и на секунду замерла, припав всем телом.

— Мы вместе, пума... — Голос Ремарка прозвучал печальней, чем подобало при долгожданной встрече, чем требовал тот накал жадного нетерпения, с которым он гнал сюда из Швейцарии. — Я хочу познакомить тебя, — взяв Марлен за руку, он подвел ее к машине. — Это единственная твоя соперница — «серая пума». Я очень люблю ее, и она все про меня знает. Все, что я таскаю в себе.

Вечером Ремарк вошел в номер Марлен с некой эффектной торжественностью — белый смокинг и школьный портфель. Из портфеля он вытащил пожелтевшие листки:

— Посмотри, пума золотая, что я нашел! Когда снимали со стен картины, обнаружилось вот это — рассказы 1920 года! Незаконченные. Тогда я не верил, что это будет кому-то интересно.

— Прекрасно! Теперь ты спокойно допишешь их. И уж можно не сомневаться, все, что вышло из под пера великого Ремарка, пойдет на ура.

— Есть маленькое «но»... Я не смогу закончить их, милая. Мне не хватает той изумительной, наглой смелости. — Он перебирал листы, и его янтарные глаза потускнели. — Двадцать лет назад, когда шла война, я мечтал об одном — спасти мир. А теперь... Знаешь, что я делал сейчас в Порто-Ронко, когда понял, что война совсем близко? Я начал паковать свою коллекцию, заботясь лишь о ее спасении.

Марлен поцеловала Эриха, привычным движением стерла помаду с уголка его губ:

— Ты непременно допишешь рассказы! Это же смешно, любимый мой! Ты великий писатель, ты все можешь. Вот Хемингуэя никогда не беспокоит, что он чувствовал когда-то. Он просто пишет — и получается великолепно.

— Марлен, всякий раз по любому поводу ты ставишь мне в пример Хемингуэя. Я знаю, что вас соединяет тесная дружба... — Ремарк замолчал, чувствовал, как закипает злость. Но обидные слова все же вырвались: — Уж эти мне слащавые, умилительные «дружбы»! Ты спала с ним! Было бы честнее сказать мне об этом. — Он поднялся и, даже не собрав свои рассказы, в гневе выбежал из комнаты.

В четыре часа ночи Марлен звонила в номер мужа:

— Проснись, Папи! Мы с Бони поссорились. Он совершенно взбесился, обвинил меня в том, что я спала с Хемингуэем. Жутко разозлился и умчался на своей «ланчии». До сих пор его нет. Наверно, опять напьется. Одевайся быстрее, возьми машину и найди его! Господи, возможно, он уже валяется в какой-то канаве!

Через два часа позвонил Зибер, сообщив, что разыскал Ремарка в баре ближайшей деревушки. Эрих был печален и пьян, но невредим.

Утром она отпаивала его лично крепко заваренным чаем. На балконе номера Эриха лежала тень, чуть трепетала листва стоящих у парапета пальм. Далеко внизу на пляже передвигались яркие фигурки.

— Эта уродина Вильфорд все вертит хвостом! Прихватила дурковатого миллионера и строит из себя принцессу. А кем была — официанткой в кафе. Впрочем, все вы падки на крепкие ляжки и тяжелые сиськи... А мистер банкир? Ты видел его масляные глазки, когда

он передавал мне мороженое? Думают, что я готова прыгнуть в постель каждого богатенького прохвоста... Конечно, деньги в наше время не пустяк...

Она говорила и говорила, Эрих не слушал. Откинув голову на спинку кресла, он смотрел на нее.

«Удивительно, она мелет страшную чушь, какую на протяжении веков мололи все женщины. Но лицо ее от этого ничуть не меняется. Пожалуй, оно становится еще прекраснее. Амазонка с глазами цвета морской волны, наделенная инстинктом насадки и проповедующая банкирские идеалы... Но разве она не права? Разве красота может быть неправой? Разве вся правда мира не на ее стороне?»

— Бони, у тебя странное выражение лица. Тебе плохо?

— Мне хорошо, милая. Я просто сочиняю.

— Про кого?

— Про тебя. Про нас, и все это.

— Что «все»? Ты снова насчет моих поклонников? Этот идиотский банкир здесь вовсе ни при чем.

— Дело в другом. «Тебе требуется много места для игр, пума, а опустошенные сердца — это еще не большие сердца. Ты чертовски крепкий и устойчивый буй — не одна яхта опрокинулась, ударившись о тебя. Сильный штормовой ветер не запрешь, даже если он прилетит, насквозь пропахнув мимозами и с весенними цветами в руках; надо представить ему пространство, тогда он смягчится и бросится к кому-то на шею со сплетенными из всех цветов венками».

— Верно, и про венки очень красиво. Вставь в свою книгу, — Марлен ушла в комнату. — Тебе сегодня не надо выходить на пляж, Бони. Здесь прохладно, сиди и пиши. Ланч тебе подадут в номер.

Эрих вздохнул — это означало, что обедать Марлен будет с кем-то другим.

## 23

Однажды, когда семейство завтракало в номере перед распахнутым к морю балконом, из Голливуда позвонил продюсер студии «Юниверсал» и предложил Марлен роль. Венгр Джозеф Пастернак был знаком Марлен еще по съемкам «Голубого ангела». Выслушав его, Дитрих холодно сказала «до свидания» и положила трубку. В ее глазах искрилось бешенство.

— Представляете, чего он хочет?! Этот венгерский идиот вздумал, что я буду играть в вестерне! А в главной роли Джимми Стюарт — бревно с детской мордашкой. Нет, Голливуд окончательно превращается в психбольницу. — Она на секунду задумалась и набрала номер Папы Джо — Кеннеди-старшего, жившего с семьей, как и в прошлом году, поблизости.

— Представь, мне предложили роль в вестерне! За кого они меня принимают?

— А сколько они тебе предлагают? — деловито осведомился дипломат.

— Я не спросила. Ты думаешь, это не такая уж безумная идея?

— Марлен, давай я переговорю со студией, — предложил Кеннеди. — Пастернак — ловкий малый. Он зря суетиться не будет.

— Ты зря ругаешь Стюарта — у него блестящие актерские данные, — сказал фон Штернберг, которому Дитрих немедленно позвонила. — А шлюха из танцзала в вестерне Пастернака — всего лишь перенесение твоей Лолы-Лолы из Берлина в Вирджиния-сити. Думаю, это хорошее предложение.

Марлен присела за стол и обвела вопросительным взглядом «семью».

— А ты что скажешь, Бони?

Во время всех телефонных переговоров Ремарк курил на балконе и лишь сейчас вернулся к завтраку.

— Вестерн? Я думаю, тебе надо начинать работать, — сказал он. — Ты сделала в кино далеко не все, что могла. Уверен, у тебя большое будущее, Марлен Дитрих.

Созвонившись с Пастернаком и уточнив все условия договора, Марлен приняла немедленное решение:

— Собирайтесь! Мы все немедленно едем в Голливуд! Тем более что может начаться война. Я не хочу бросать вас здесь! Хотя Папа Джо обещает в случае необходимости эвакуировать всех в безопасное место в Англии. Это надо иметь в виду... — Она задумалась, глядя на сидевших за столом. — Как это ни тяжело, дорогие мои, мне придется выехать первой.

## 24

2 сентября 1939 года, на следующий день после начала Второй мировой войны, Марлен уехала, чтобы заключить контракт со студией и начать подготовку к фильму, а «семья» осталась в Антибе. Вскоре отель облетела страшная весть — немцы вступают во Францию! Началось бегство — белоснежный «Мыс Антиб» был похож на брошенную крепость. У входа в Антибскую бухту, как бы заслоняя собой горизонт, маячили серые силуэты четырех военных кораблей. Низкие, угрожающе безмолвные, стояли они под отступающим перед ними небом.

Семейство уезжало из Антиба на двух машинах. Впереди Ремарк с Марией на своей великолепной «ланчии», за ним Зибер с Тамми на забитом багажом «паккарде». Францию охватила паника. По дороге тянулись длинные колонны мобилизованных на войну мулов и лошадей.

— Кот, запомни все, что видишь, — сказал Ремарк. — Пусть это навсегда врежется тебе в память! Чувство отчаяния. Гнев французских фермеров, безнадежность на их лицах. Размытые в сгущающихся сумерках краски. Черных мулов гонят на войну, мулов и лошадей против вермахта и люфтваффе.

— Когда мы ехали по сельской Франции, — вспоминает шестнадцатилетняя Мария, — нас преследовало чувство, что Франция уже потерпела поражение... И фермеры с мулами шли не на войну — они еле тащились по дороге, будто знали, что впереди их ждет поражение, и часто останавливались — посидеть на обочине, усталые и удрученные.

— Бони, они уже знают, что проиграют войну?

— Да. Они старые и помнят прошлую войну. Взгляни в их лица, Кот. Война — не гимн славы, а плач матерей. Я, молоденькая девчонка, наблюдала, как начинается новая война, вместе с человеком, видевшим старую, запечатлевшим ее ужасы в книгах, которые читает весь мир. Мне предстояло стать живым свидетелем, я чувствовала, что для меня — большая честь находиться в такую пору рядом с Ремарком...

Для Бони это было судьбоносное время, он надолго прощался с Европой, отдавая себе отчет в том, что, возможно, не вернется никогда. Ремарк полагал, что Гитлер, наделенный силой зла, выиграет войну и станет самовластным хозяином всей Европы...

В Париже было темно, мы ехали медленно. Я высматривала Эйфелеву башню, ярко иллюминированную всего год назад, но видела лишь ее мрачный силуэт на фоне ночного неба.

— Париж — это город света, — прошептал Ремарк. — Прекрасный Париж переживает свою первую светомаскировку. За всю современную историю никому еще не удавалось лишить Париж ярких огней. Мы должны поднять за него тост и пожелать ему удачи. Пойдем, пока Папи прощается со своей мебелью, мы с тобой поедem к Фуке, проведем еще один летний вечер на Елисейских полях и попрощаемся с Парижем.

В ту ночь знаменитый погребок Фуке был опустошен — выпиты все коллекционные бургундские вина, шампанское, коньяки 1911 года. Парижане толпились на Елисейских полях. Все пили, но никто не был пьян.

— Мсье, — перед Ремарком низко склонился его любимый старший официант, ведающий винами. Он любовно сжимал в руке пыльную бутылку. — Мы не хотим, чтобы такое вино досталось бошам, не так ли?

Ремарк кивнул в знак согласия. Потом он и мне налил маленький бокал.

— Кот, ты этого никогда не забудешь — ни вкуса вина, ни случая, по которому откупорили такую бутылку.

Он оказался прав — я не забыла.

В ту ночь мы с Бони подружились по-настоящему... Мы стали товарищами, пережившими общую трагедию».

## 25

Все снова оказались в Америке. Марлен жила в своем бунгало в Беверли-Хиллз, Ремарк поселился напротив, Зибер и Тами снимали номера в отеле.

Студия уже взялась за раскрутку фильма. О Дитрих кричали все заголовки газет, следящих за съемками вестерна «Дестри снова в седле». В подробностях расписывалась любовь, охватившая главных героев — Дитрих и Стюарта. Песня «Посмотрим, что получается у парней из задней комнаты», написанная для Марлен, обещала стать хитом.

Однако «нетрадиционные семейные отношения», к которым привыкла Марлен в Европе, для американцев были слишком скандальны. Американские пуритане не были готовы видеть свою замужную звезду в сложных отношениях с любовниками.

Марлен срочно отправила мужа с Тами в НьюЙорк. Ремарку удалось избежать ссылки, хотя его присутствие осложняло жизнь Марлен, начавшей бурный роман со своим партнером — Джеймсом Стюартом.

Ремарк получил багаж из Порто-Ронко, все его тщательно упакованное имущество: антикварные вазы, картины, драгоценные ковры — благополучно перебралось через океан. Америка — новый дом Эриха. Но как неуютно в нем. Марлен рядом, но она все больше ускользает от него, то притягивая, то отталкивая. Ремарк ведет затворнический образ жизни, принуждая себя писать, а вечером, к возвращению Марлен со студии, рвет все написанное. По существу, он лишь делает вид, что занят сочинительством. На самом же деле все его существо замирает в настороженном ожидании: вот-вот раздастся шум ее машины, телефонный звонок, и она дозволит ему явиться. Иногда он так и не дожидался Марлен, особенно по субботам. Она возвращалась лишь вечером в воскресенье и старалась перевести отношения с Бони в испытанную схему отношений с мужем или фон Штернбергом: друг, советчик, доверенное лицо. Марлен обожала обсуждать самые различные ситуации с «ближним кругом», разыскивая по всем континентам Хемингуэя, фон Штернберга, Кеннеди, чтобы посоветоваться насчет гонораров, фасона шубы, признания поклонника, высказывания прессы. Бони же лучше других мог подсказать правильный тон в ее любовных сюжетах.

Она ворвалась к нему поздно вечером, разгоряченная происшедшим:

— Бони! Стюарт закатил мне жуткую сцену. Мы повздорили прямо на площадке из-за его ужасной манеры произносить текст. — Марлен окинула взглядом исписанные листки в раскрытом блокноте. — Ты пишешь? Я помешала?

— Пустяки. Говорят, Стюарт хороший актер. — Эрих захлопнул блокнот и пересел в кресло у чайного столика. — Будешь кофе?

— Уже перебрала сегодня кофеина. Сплошные нервы. — Марлен села на диван и нахмурилась. -

Видишь ли, Джеймс изобрел новый стиль игры, который мы называем «искать второй ботинок». Даже когда он играет любовную сцену, можно подумать, что он надел только один ботинок и не может найти второй, а во время поисков медленно бормочет свой текст. Понимаешь? Я сказала ему, что это выглядит по-дурацки. Он лишь промывчал: «М-м?» Это совершенно в его стиле, полное отсутствие чувства юмора. Тогда я не сдержалась и выдала всё, что я о нем думаю. Он только хлопнул дверью!

— И все же вы, как я понимаю, отлично сыгрались? — желчно заметил Эрих.

— Ах, не все так гладко! Джеймс совершенно не умеет быть романтичным. А я не знаю, как превратить наши отношения в нечто возвышенное, незабываемое. Как было у нас с тобой. — Присев на подлокотник кресла, она обняла его голову. — Придумай что-нибудь, знаменитый писатель!

Эрих молчал. В такие минуты он совершенно не знал, что сделает в следующий момент — ударит, прогонит ее или станет придумывать «сценарий» для любовного свидания с соперником.

— Почитай ему Рильке, — посоветовал он, намекая на их первое свидание в Венеции. — Помнишь:

День, который словно в пропасть канет,  
В нас восстанет вновь из забвения.  
Нас любое время заарканит, —  
Ибо жаждем бытия...

— Это не для него. Хотя... — Она и не вспомнила, как читала эти стихи с Эрихом. День в Венеции и впрямь канул в пропасть, но не восстал из забвения. Ремарк вздохнул, ощущая печаль столетнего старца по утраченной молодости.

— Вообще будь ласковой пумой, — он тронул ее щеку, и она одарила его нежной улыбкой. Он засмотрелся, впитывая загадку ее лица, магию которого бесконечно описывал в «Триумфальной арке»:

«...Смелое, ясное лицо, оно не вопрошало, оно выжидало... Глядя на него можно мечтать, о чем только вздумается. Оно словно красивый пустой дом, который ждет картин и ковров. Такой дом может стать чем угодно — и дворцом и борделем — все зависит от того, кто будет его обставлять. Какими пустыми кажутся по сравнению с ним пресытившиеся, точно маской покрытые лица...»

Марлен оживилась:

— Стихи — это хороший ход. Спасибо, милый! В следующую субботу приготовлю для тебя дивный обед. Ты неподражаем, Бони. — Она направилась к двери. — Спокойной ночи, малыш. Я не слишком тебя утомила своими проблемами?

— Если бы ты могла понять, какое небесное блаженство дарить тебе радость. Пусть хоть так — в роли постороннего соглядатая. Я твой Сирано с БеверлиХиллз. — Поцеловав Марлен руки, Эрих закрыл за ней дверь, чтобы снова погрузиться в одиночество и ожидание. Из зеркала, мелькнувшего в холле, на него косо глянул хмурый человек. Ремарк остановился и приблизил лицо к стеклу.

«Сколько все-таки горя и тоски умещается в двух таких маленьких пятнышках, которые можно прикрыть одним пальцем, — в человеческих глазах», — подумал он и выключил свет.

Ремарк понимал: Марлен не хочет отказываться от тех роскошных праздников, за возможность побывать на одном из которых обычная женщина отдала бы полжизни. Она не может появляться без достойного кавалера, а сам он все чаще избегал этой чести. Вот теперь и сидит в одиночестве. Не дождавшись приглашения, он пересек улицу и заявился непрошеным в дом Марлен.

Вошел и обомлел. Одетая к выходу, она задержалась перед зеркалом, внимательно оценивая свой туалет. Великолепная статуя, облаченная в одно из новых вечерних платьев. Изысканный черный бархат украшали перья райских птичек, выкрашенных в смоляной цвет. Они ниспадали веером от ее обнаженных плеч, отбрасывая тень на словно фарфоровую кожу. На голове плотно сидела маленькая чалма, сплошь выложенная блестящими



перышками. Длинные бархатные перчатки, браслет с изумрудом и бриллиантами, великолепная квадратная бриллиантовая брошь.

Не обернувшись к вошедшему, Марлен взяла театральную сумочку с изумрудной застежкой, в которой лежала пудреница и портсигар.

— Что это ты явился? — Марлен мельком взглянула на Бони в зеркало, поправляя выпущенные изпод чалмы золотистые волны.

— Зигмунд Фрейд скончался в Лондоне от рака, — сказал он, осознавая нелепость своего сообщения.

— Жуткая трагедия! — усмехнулась Марлен. — Он только и делал, что болтал о сексе и морочил людям голову.

Ее кавалер уже нетерпеливо сигнализировал у подъезда. Эрих шутовски раскланялся:

— На выход, мэм!

Марлен взвилась:

— Кто эта потаскушка, с которой сегодня я тебя видела? — она пристально посмотрела на него. — Вот оно что! Значит, уже так далеко зашло!

«Равик достал сигарету.

— Это же просто глупо. Сама живешь с другим, а мне устраиваешь сцены ревности! Ступай к своему актеру и оставь меня в покое.

— Там совсем другое, — сказала она.

— Ну, разумеется!

— Конечно, совсем другое! — вдруг ее прорвало. — Ты ведь отлично понимаешь, что это другое. И нечего меня винить. Я сама не рада. Нашло на меня, сама не знаю как.

— Такое всегда находит неизвестно как...

— А ты... в тебе всегда было столько самоуверенности! Столько самоуверенности, что впору сойти с ума! Мне нужно, чтобы мною восторгались! Я хочу, чтобы из-за меня теряли голову! Чтобы без меня не могли жить! А ты можешь! Всегда мог! Я не нужна тебе! Ты холоден. Не смейся, я прекрасно вижу разницу между тобой и им, я знаю, что он не так умен и совсем не такой, как ты, но он готов ради меня на все».

— Холодный, самоуверенный Равик должен удалиться. Удачного вечера, пума. — Эрих не решился коснуться на прощанье ее руки, затянутой в черные атласные перчатки. Это он может жить без нее? Ах, если бы...

Вернувшись к себе, он напишет о Равике:

«Ему все еще чудилась белая, всплеснувшая крыльями Ника, но за ее плечами из тьмы выплывало лицо женщины, дешевое и бесценное, в котором его воображение запуталось, подобно тому, как запутывается индийская шаль в кусте роз, полном шипов...

Лицо! Лицо! Разве спрашиваешь, дешево оно или бесценно, неповторимо или тысячекратно повторено? Обо всем этом можно спрашивать, пока ты еще не попался, но уж если попался, ничто тебе больше не поможет. Тебя держит сама любовь, а не человек, случайно носящий ее имя... Любовь не знает ни меры, ни цены».

— Сегодня я победительница! Дралась с Уной Меркель! Смотри, какие синяки! — Марлен задрала рукав шелкового халата. — Мы должны были снимать сцену драки, где моя Дестри лущует соперницу. Конечно, наш режиссер Джордж Маршалл струхнул и пригласил дублерш. Как же так — звезда может пострадать! Но я убедила Пастернака, что реклама

будет грандиозная — Дитрих снимается без дублерш! Человек сто из разных журналов и обозрений дежурили у площадки. Им объявили, что драка будет без правил, когда все захваты разрешены. Рядом оборудовали пункт «скорой помощи» и создали жуткий ажиотаж. Когда прозвучала команда «мотор!», мы с Уной замерли. Тогда я прошептала ей: «Давай пинай меня, бей, рви волосы, колоти, а то я сейчас за тебя возьмусь!» С этими словами я зарычала, набросилась на Меркель и повалила ее на пол. Мы пинали друг друга, рвали волосы, царапались, катались по грязному полу, позабыв уже о камере. Но тут подоспел Стюарт и вылил на нас ведро воды. Он испугался, что я пострадаю, и разнимал нас, словно кошек. Уж я здорово помяла эту неженку. Ты знаешь, я очень сильная женщина.

— И гений рекламы, Марлен. Студия должна доплатить тебе за идею и ее смелое воплощение.

Не сомневаюсь, этот фильм сорвет кассу. Пумы непобедимы в бою, — Эрих обнял ее с такой нежностью, будто и не было ничего после майских дней в «Ланкастере». — Что ж мне делать с собой, золотая?

— Иди к себе. — Она улыбнулась. — Но возвращайся!

На страницах, вошедших в «Триумфальную арку», Ремарк напишет:

«Жоан стояла у двери во мраке. За плечами у нее струился серебряный свет. Все в ней было тайной, загадкой, волнующим призывом. Манто соскользнуло с плеч и черной пеной лежало у ее ног. Она прислонилась к стене и медленно поймала рукой луч света, проникший из коридора.

— Иди и возвращайся, — сказала она и затворила дверь».

Он возвращался, потому что потребность видеть ее и находиться рядом была сильнее злости и доводов разума. «Все они сотворены из глины и золота, подумал он. Из лжи и потрясений. Из жульничества и бесстыдной правды». А значит, терпи, если можешь.

## 27

Премьера «Дестри снова в седле» состоялась в Нью-Йорке в ноябре 1939-го. Фильм имел бешеный успех. Тут же приступили к съемкам «Семи грешников» с Дитрих в главной роли. Она упивалась возрожденной славой, влюбленностью «ковбоя» Стюарта, флиртвала с новым партнером Джоном Уэйном, с Пастернаком и чувствовала себя на подъеме.

Ремарк, все более впадавший в депрессию, с трудом сдерживался от упреков. Но раздражение вырывалось наружу.

— Ты меняешь любовников и при этом продолжаешь убеждать меня, что я остаюсь для тебя единственным?

«— ...Откуда ты взял, что любить можно только одного человека? Неверно, ты и сам это знаешь. Правда, есть однолюбы, и они счастливы. Но есть и другие, у которых все шиворот-навыворот. Ты знаешь и это.

Равик закурил. Не глядя на Жоан, он ясно представлял, как она выглядит. Бледная, с потемневшими глазами, спокойная, сосредоточенная, почти хрупкая в своей мольбе и все-таки несокрушимая... Точно ангел-провозвестник, полный веры и убежденности. Этот ангел думал, что он спасет меня, а на самом деле пригвождал меня к кресту, чтобы я от него не ушел.

— Да, я это знаю, — сказал он. — Все мы так оправдываемся.

— Я вовсе не оправдываюсь. Люди, о которых я говорю, обычно несчастливы. Это происходит помимо их воли, и они ничего не могут поделать с собой. Это что-то темное и запутанное, какая-то сплошная судорога... И человек должен пройти через это. Спаситься бегством он не может. Судьба всегда настигает тебя. Ты хочешь уйти, но она сильнее.

— К чему столько рассуждений. Уж коли неизбежное сильнее тебя — покорись ему.

— Я так и делаю. Знаю, ничего другого не остается. Но... — ее голос изменился. — Равик, я не хочу потерять тебя...»

Она действительно не хотела потерять Эриха. Видела, как бесят его ее романы, как чувство, соединявшее их, ветшает и разлетается в клочья. Но пока что достойной замены Бони не было, ее увлечения не отличались особой глубиной, партнеры — особой значительностью. А сдерживать себя она не умела. Ремарк пытался найти утешение в мимолетных флиртах, но все больше ожесточался. Для него свет сошелся клином на Марлен, и как бы ни пытался он выбраться из тупика, снова возвращался в путы этой мучительной любви. Накал изломанных страстей был необходим ему, давая импульс к творчеству. Даже сейчас, когда он не мог писать, в нем уже начинали жизнь новые книги, впитывающие горячую кровь ежедневных баталий.

— Марлен, мы теряем друг друга. Но мы еще можем все изменить. Послушай, это очень серьезно. Если хочешь спасти нас — стань моей женой.

Марлен села, спрятала лицо в ладонях и несколько секунд молчала. В ее голосе одновременно чувствовались вызов и вина:

— Знаешь, Бони... Ты выбрал совсем неподходящий момент. Да и вообще...

— Понимаю. — Он набрал полную грудь воздуха, готовясь принять отказ. — Я все понимаю.

— Разумеется! Ты всегда все понимаешь! — Во взгляде Марлен было явное раздражение. — Но ты не можешь знать, что я беременна от Стюарта. Разумеется, рожать я не собираюсь.

— Ты любишь его? Скажи «да», и я никогда больше не появлюсь здесь.

— Нет, Бони...

«Я смеялась, играла, все это казалось мне неопасным, легким, я думала, в любую минуту можно будет отмахнуться от всего; и вдруг это стало значительным, неодолимым, вдруг что-то заговорило во мне; я сопротивлялась, но бесполезно, чувствовала, что делаю не то, чувствовала, что хочу этого не всем своим существом, а только какой-то частицей, но что-то меня толкало, словно начался медленный оползень — сперва ты смеешься, но вдруг земля уходит из-под ног, все рушится, нет больше сил сопротивляться... Но мое место не там, Равик. Я принадлежу тебе.

Слова, подумал Равик... Сладостные слова. Нежный обманчивый бальзам. «Помоги мне, люби меня, будь со мной, я вернусь» — слова, приторные слова, и только. Как много придумано слов для простого, дикого, жестокого влечения двух человеческих тел друг к другу! И где-то высоко над ним раскинулась огромная радуга фантазии, лжи, чувств и самообмана!.. Вот он стоит, а на него льется дождь сладостных слов, означающих лишь расставание, расставание, расставание... И если обо всем этом говорят, значит, конец уже наступил. У бога любви весь лоб запятнан кровью. Он не признает никаких слов».

Ремарк наконец нашел в себе силы освободиться: арендовал дом в Brentwude — окрестности Лос-Анджелеса — и выехал из своего бунгало. Новый дом он считал временным жилищем, не удосуживаясь распаковать любимые коллекции — под лестницей лежали свернутые ковры, у стен стояли обшитые холстом картины. Он повесил лишь одну, «Желтый закат» Ван Гога, и приобрел двух ирландских терьеров — друзей в одиночестве. Эрих надеялся, что дом в Порто-Ронко дождетс своего хозяина, когда война закончится, и он избавится от чар Марлен. Но пока Марлен не отпускает его. Ремарк пишет ей письма, называя себя Равиком. Пишет, заливая тоску вином, раздирая душу в клочья. А потом, на

трезвую, злую голову клянёт себя за то, что письмо отправлено.

«Посмотри на Равика, исцарапанного и обласканного, зацелованного и оплеванного... Я, Равик, видел много волков, знающих, как изменить свое обличье, и всего лишь одну пуму, сродни им. Изумительный зверь. Когда луна скользит над березами, с ним происходит множество превращений. Я видел пуму, обратившуюся в ребенка; стоя на коленях у пруда, она разговаривала с лягушками, и от ее слов на их головах вырастали маленькие золотые короны, а от волевого взгляда они становились маленькими королями. Я видел пуму дома; в белом передничке она делала яичницу... Я видел пуму, обратившуюся в тигрицу, даже в мегеру Ксантипу. И ее длинные ногти приближались к моему лицу... Я видел, как пума уходит, и хотел крикнуть, предупредив об опасности. Но мне пришлось держать рот на замке...

Друзья мои, вы заметили, как пума пляшет, словно пламя, уходя от меня, и снова возвращается? Как же так? Вы скажете, что я нездоров, что на лбу у меня открытая рана и я потерял целую прядь волос? А как же иначе, если живешь с пумой, друзья мои? Они порой царапаются, желая приласкать, и даже спящей пумы остерегайтесь: разве узнаешь, когда она вздумает напасть?»

Письма все еще имели власть над Марлен. Получив послание Эриха, она звала его к себе, клялась, что любит только его. Иногда она даже позволяла любить себя, но рано утром, перед уходом на съемки, отправляла восвояси. Эти перепады измучили Ремарка. Он теперь даже не заставлял себя сочинять — листки его блокнотов оставались нетронутыми. Но истерзанный Равик уже жил в его воображении, питаясь переживаниями Эриха.

«...Если кристалл расколется под молотом сомнений, его можно в лучшем случае склеить, не больше. Склеить, лгать и смотреть, как он едва преломляет свет, вместо того чтобы сверкать ослепительным блеском! Ничего не возвращается. Ничего не восстанавливается. Даже если вернется, прежнего уже не будет. Склеенный кристалл. Упущенный час. Никто не сможет его вернуть.

Он почувствовал невыносимую острую боль. Казалось, что-то рвет, разрывает его сердце. Боже мой, думал он, неужели я способен так страдать из-за любви? Я смотрю на себя и ничего не могу поделать. Знаю, что если я опять потеряю ее, моя страсть не утихнет. Я анатомирую свое чувство, как труп в морге, но от этого моя боль становится в тысячу раз сильнее. Знаю, что в конце концов все пройдет, но и это мне не помогает. Невидящими глазами Равик уставился в окно, чувствуя себя до нелепости смешным... Но и это не могло ничего изменить...»

Они расставались и снова мирились, даже ездили вдвоем на уик-энд в курортное местечко у океана. Но это была лишь агония — любовь умирала, не желая сдаваться.

Ведь, как напишет Ремарк, надежда умирает тяжелее, чем сам человек. И она, истончившаяся, как мартовский лед, все еще жила.

Однажды Марлен сообщила:

— Мне в партнеры для нового фильма подобрали самого известного французского киноактера. Бони, это тот самый из великолепного фильма «Большие иллюзии». Только он, наверно, совсем не говорит по-английски. Придется его опекать.

Заклучив контракт со студией «XX век-Фокс» Жан Габен прибыл в Голливуд. Студия поселила прибывшего актера в бунгало, в котором жил Ремарк. В его распоряжение предоставили «роллерсройс» с шофером и яхту. Габен стал новым королем Голливуда. Марлен

приступила к опеке француза: начала готовить свои термосы с бульонами и утренние яичницы-болтуни. Фото Жана появились в гостиной Марлен. Габен не знал, что судьба его на несколько лет предрешена и что его ждет прекрасная и мучительная любовь.

Ремарк решил перебраться в Нью-Йорк.

— Ты собираешься меня покинуть? — спросила Марлен точно так же, как когда-то фон Штернберга — с неподвижным, словно скованным горем лицом.

— Гавань не может покинуть корабль, отплывший накануне вечером.

— Так ты уезжаешь или нет?

— Я уезжаю, печаль моя. Я хотел обратить тебя в счастье, но мне не хватает бывшего могущества.

— Но я же люблю тебя!

— Ты по-своему представляешь любовь, печаль моя. Ты производишь тысячу оборотов в минуту, а для меня норма сто. Мне требуются часы, чтобы выразить свою любовь к тебе, а ты справляешься с этим за пять минут и убегаешь дальше... Счастливого пути, пума...

Вскоре Марлен получила прощальное письмо.

«Самой непритязательной и самой притязательной! Равик, злополучный даритель, держит свое сердце высоко, как факел, и благодарит тебя, пума юношиня, соратница, мальчик-принц, зеркало и чистый хрусталь, в котором разгорается и сверкает его фантазия, за все, что ты дала ему. И богов за то, что они подарили тебя миру и на некоторое время ему...»

Приписка: только что скончался ввиду общего упадка сил и недоедания — св. Антоний Уэствудский, урожденный Дон Кихот, похороны состоялись уже четыре недели назад.

Это последнее, как считал Ремарк, письмо послано 1 ноября 1940 года из нью-йоркского отеля «Шерри-Низерленд», где он поселился. Марлен немедленно позвонила, говорила бурно и искренне о глубоких чувствах, связывающих ее с Эрихом, о нежелании терять его. Она предлагала взамен любви дружбу. Но он был непримирим. «Любовь не пятнают дружбой. Конец есть конец».

### 30

В апреле 1941 года Марлен переезжает с Жаном Габеном в общий дом в Брентвуде. Это не очередная связь увлекающейся актрисы, это очередная Великая любовь.

Ремарк тоже увлечен другой женщиной и всеми силами старается освободиться от любви к Марлен. Но газетное сообщение о ее совместной жизни с Габеном приводит его в бешенство. Ревность и обида вспыхивают с новой силой.

Ремарк просит Марлен вернуть его письма и вскоре получает их. А затем отправляет их обратно, приложив к письму рисунок Эжена Делакура, изображающий львицу.

«Невозможно к чему-нибудь из этого прикоснуться — но невозможно также это пламя превратить в добропорядочно тлеющие угли телефонного знакомства. Невозможно как святотатство — лишь то, что обрывается, остается. Поэтому: адье!

Случай подбросил мне сейчас под занавес то, что я долгие годы искал по всей Европе: несколько пум самого великого рисовальщика пум в мире... Прими их и давай похороним пуму и восславим жизнь!

И не будем друзьями в буржуазном и сентиментальном смысле, чтобы безнадежно растоптать три года быстрой, огненной жизни и фата-моргану воспоминаний».

Ниже Альфред с детскими ошибками приписывает:

«Я думал, что любовь это такое чудо, что двум людям вместе намного лучше,

чем одному. Как крыльям эроплана».

В мае 1942 года Марлен пришлет Ремарку черную металлическую пуму с зелеными глазами и золотистыми пятнами. И напишет теплое письмо с глубоким намеком: она говорит о некоем последнем желании, оставшемся у нее. Конечно же, о наступлении перемирия и эры задушевной дружбы с Эрихом. Он не хочет понимать, его раны еще не закрылись.

«Как обстоят дела у тебя, Юсуфь, насчет «последнего желания, оставшегося у тебя в жизни»? Обволакивает ли тебя счастье золотом, как в летний вечер... Салют! Живи! Не растрчивай себя! Не давай обрезать себе крылья, домохозяек и без тебя миллионы. Из бархата не шьют кухонных передников. Ветер не запрешь. А если попытаться, получишь спертый воздух... Танцуй! Смейся!

Салют, салют! ...Благодарю тебя, небесное прощай! И тебя, разлука, полная виноградной сладости. То, что ты ушла, — как нам было этого не понять? Ведь мы никогда не могли понять вполне, как ты среди нас очутилась...»

«Триумфальную арку» он сумел закончить лишь после того, как порвал с Дитрих.

Ему было уже 46 лет. Но все его романы в литературе и в жизни делились с тех пор на два периода — до и после Марлен.

История Жоан и Равика окончилась примирением — их примирила смерть. Любовник стрелял в Жоан, раздробив шейный позвонок. Равик привез умирающую в клинику, где работал хирургом. Распростертая на больничной кровати, Жоан обречена на медленное, неотвратимое умирание. Равик пытается скрыть от нее правду.

«...Она слегка повернула голову:

— А я было собралась... начать жить по-новому...

Равик промолчал. Что он мог сказать ей? Возможно, это была правда, да и кому, собственно, не хочется начать жить по-новому?

Она опять беспокойно повела головой в сторону. Монотонный измученный голос:

— Хорошо... что ты пришел... что бы со мной стало без тебя?

— Ты только не волнуйся, Жоан.

«Без меня было бы то же самое, — безнадежно подумал он. — То же самое. Любой коновал справился бы не хуже меня. Любой коновал. Единственный раз, когда мне так необходим мой опыт и мое умение, все оказалось бесполезным... Все напрасно...»

К полудню она все поняла. Он ничего не сказал ей, но она вдруг поняла все сама.

— Зачем ты лжешь? Не надо... Ты не обязан лгать... обещаю...

— Обещаю.

— Если станет слишком больно, дай мне что-нибудь. Моя бабушка... лежала пять дней... и все время кричала. Я не хочу этого, Равик... Дай мне достаточную дозу для того, чтобы... все сразу кончилось. Это мое последнее желание.

— Обещаю.

— Последний год моей жизни подарил мне ты. Это твой подарок, — она медленно повернула к нему голову. — Почему я не осталась с тобой?...

— Виноват во всем я, Жоан.

— Нет. Сама не знаю... в чем дело...

...Боли усилились. Она застонала. Равик сделал ей еще один укол.

— Свет... слишком много света... слепит глаза... Равик подошел к окну, опустил штору и плотно затянул портьеры. В комнате стало совсем темно. Он сел у изголовья кровати.

Жоан слабо пошевелила губами:

— Мне надо тебе многое сказать. Многое объяснить...  
— Я знаю все, Жоан.  
— Знаешь?  
— Мне так кажется.  
Волны судорог. Равик видел, как они пробегают по ее телу.  
— Ты знаешь... я всегда только с тобой...  
— Да, Жоан.  
— А все остальное... было одно... беспокойство. Как странно... — сказала она очень тихо. — Странно, что человек может умереть... когда любит...  
Равик склонился над ней. Темнота. Ее лицо. Больше ничего.  
— Я не была хороша... с тобой... — прошептала она.  
— Ты моя жизнь...  
Она попыталась поднять руки, но не смогла.  
— Ты в моих объятиях, — сказал он. — И я в твоих.  
На мгновение Жоан перестала дышать. Ее глаза словно совсем затенились. Она их открыла. Огромные зрачки. Равик не знал, видит ли она его.  
— Ты вернула мне жизнь, Жоан, — сказал он глядя в ее неподвижные глаза. — Ты вернула мне жизнь. Я был мертв как камень. Ты пришла — и я снова ожил.  
— Люблю тебя...  
— Жоан, — сказал Равик, — любовь — не то слово. Оно слишком мало говорит. Оно лишь капля в реке, листок на дереве. Все это гораздо больше...  
— Я всегда была с тобой...  
— Ты всегда была со мной. Любил ли я, ненавидел, или казался безразличным... ты всегда была со мной, всегда была во мне, и ничто не могло это изменить.  
— Поцелуй меня...  
Он поцеловал горячие, сухие губы.  
Жоан силилась еще что-то сказать, ее губы дрожали. Хрипение, глубокое, страшное хрипение, и наконец крик:  
— Помоги! Помоги! Сейчас!..  
Шприц был приготовлен заранее. Равик быстро взял его и ввел иглу под кожу. Он не хотел, чтобы она медленно и мучительно умирала от удушья.  
Ее веки затрепетали. Затем она успокоилась. Дыханье остановилось. Равик раздвинул портьеры и поднял штору. Затем снова подошел к кровати. Застывшее лицо Жоан было совсем чужим».

## «ДАВАЙ НИКОГДА НЕ УМИРАТЬ...»

### 1

В марте 1941 года роман Ремарка «Возлюби ближнего своего» выходит отдельным изданием. Он живет в Нью-Йорке в отеле «Шери-Незерленд», чужом, безликом городе, пишет, заводит незначительные интрижки со случайными женщинами. Жизнь продолжается. Но как заставить себя забыть, что Марлен рядом, здесь, в Америке. И она, должно быть, тоже не может забыть. Разве можно забыть чудо?

Он не хотел этого, он считал: «только то, что обрывается, остается». Он не хотел буржуазной, сентиментальной дружбы. Но ведь «жизнь слишком длинна для одной любви». А ему предстояло прожить еще тридцать лет. Три десятилетия без Марлен. Ей же — целых пятьдесят! Как много еще предстоит пережить. Не лучше ли торжественно захоронить почившую любовь? Лучше. Но она хочет жить. Хотя бы в воспоминаниях, фантазиях, несбыточных мечтах. И Ремарк снова пишет, воображая себя в Порто-Ронко, где остались

акации над каменным столом во дворе и погребок с отличными винами. Где все еще витает образ Марлен, к которому он взывал ежедневно в своих страстных посланиях.

«...Когда ночь начала удаляться и за платанами посветлело, он поднялся из-за своего каменного стола и по влажному от росы лугу дошел до того места, откуда мог обозреть все небо.

— Эй, ты! — сказал он красноватому блеску, тлевшему низко над сонным горизонтом. — Ты, самый близкий и самый опасный, ты, Марс, преследовавший меня, приди, напусти свой мрачный свет на меня, нависни надо мной, жарь, пеки, обваривай, вали на меня все, что пожелаешь, набрасывайся на меня сколько угодно, но оставь в покое самую светлую пуму из лесов. Она беспомощна в эти ночи полнолуния, она свернулась на своем ложе для раненых, и в темные предутренние часы ее навещает Диана, лечит травами и заговорами, чтобы она вновь стала нашей радостью и нашим быстрым, как стрела, счастьем — а посему ты, самая темная из всех планет, оставь ее в покое.

— И вы, более светлые братья и сестры, помогите! давайте сотворим золотую клетку-решетку вокруг спящей пумы, которая убережет ее от немых угроз разных случайностей!

Я призываю вас, большие созвездия... оберегайте ее, оберегайте!»

Марлен счастлива с Габеном. Она совершенно без ума от этого прямодушного, мужественного и нежно любящего ее человека. Она воссоздала для него Францию в солнечной Калифорнии: готовила французские блюда, благоухала французскими духами, щебетала на французском языке. Жан покорен и завоеван. Он называет Марлен «моя Великолепная» и не мыслит будущего без нее.

Марлен снимется в фильмах «Нью-Орлеанский огонек» у режиссера Рене Клера, «Власть мужчин» у Рауля Уолша. Ни роли, ни фильмы не увлекли ее. Марлен настойчиво пытается перевести натянутые отношения с Ремарком в русло доверительной дружбы. В августе 41-го во время съемок она сломала лодыжку. Узнав об этом из газет, Ремарк звонит ей.

— Поздравляю, светлейшая! Говорят, твои ноги застрахованы на миллион долларов. Ты разбогатела. — Он откашлялся, перевел дух. — Прости... Это очень больно? Я могу чем-то помочь?

— Ты уже помог. Как хорошо, что позвонил! Я грустила по тебе. Если уж ты не можешь лечить мою ногу, лечи хотя бы сердце.

— Я думал, с этим у тебя все в порядке.

— Ну... — Она помолчала. — Проблемы всегда есть. Жан такой чужой здесь! Я стараюсь опекать его. Мы говорим только по-французски, общаемся с его друзьями — французскими актерами и режиссерами. Габен — цельная натура. В нем нет ничего фальшивого — все ясно и просто. Он благодарен за все, что я могу ему дать. Я люблю его как большого ребенка.

— Спасибо за информацию. Впрочем, журналисты всю стараются, чтобы никто в этой стране не забыл, как Дитрих опекает своего «велосипедиста».

— Ты зря стараешься выглядеть хуже, чем есть. Ты очень добрый и тонкий человек, Бони.

— С высоты своей тонкости желаю тебе радости, в чем бы ты ее ни находила.

— Бони! Не вешай трубку... Спасибо за пожелание. Когда же ты поймешь, что без твоего дружеского благословения я ничего не стою? Эй! Не молчи... Что за идиотская манера бросать трубку!



В 1942 году под руководством Голливудского Комитета Победы звезды стали помогать общему делу разгрома врага. Дитрих ринулась в работу со свойственной ей увлеченностью. Она сменила амплуа, забыв на время про ауру отстраненности и таинственности, окружавшую ее образ. Теперь она — «свой парень», «отличный малый», «настоящий боец». Она приходит по первому зову, выступает в госпиталях, на заводах и фабриках, где агитирует рабочих дать деньги на военный заем. В ночных клубах Марлен произносит речи перед подвыпившими гостями, призывая покупать столь нужные сейчас стране облигации военного займа. Сопровождающие ее представители Министерства финансов обеспечивают поддержку и оберегают мисс Дитрих от всяких неприятностей.

«Однажды, в одну из таких ночей, меня вызвали в Белый дом. Когда я вошла туда, стрелки показывали два часа ночи, — рассказывает Марлен на страницах своей автобиографии. — Президент Рузвельт встал — да, конечно, он встал, — когда я вошла в комнату. Он опустил в свое кресло, взглянул на меня ясными голубыми глазами и сказал: «Я слышал, что вам приходится делать, чтобы продать облигации. Мы благодарны вам за это. Но такой метод продажи граничит с проституцией. Отныне вы больше не появляетесь в ночных заведениях. Я не разрешаю вам. Это — приказ!» — «Да, господин президент», — только и могла я вымолвить. Мне так хотелось спать, что я могла тут же в кабинете, на полу, если бы это было возможно, лечь и заснуть».

В самом начале 1942-го Ремарк отправляет Марлен радиоприемник, который она прислала ему, когда он уехал из Беверли-Хиллз. «Спасибо тебе за радио и самые добрые пожелания в работе и в твоей жизни» — такова скромная приписка. Но вскоре он сообщает ей, что едет в Чикаго и намерен сделать пересадку в Лос-Анджелесе. Марлен обещает проводить его.

Вокзальный ресторан, потоки дождя на темных вечерних окнах, вспыхивающие в огнях проходящих поездов. Невнятный голос радиообъявлений. Марлен в черном, туго подпоясанном плаще и берете, надетом чуть набок. Светлые пряди развились от влаги, на мраморной коже щек, как слезы, блестят капли. Она сразу бросилась к его столику, и он задохнулся от бури нахлынувших чувств. Прошла вечность, пока он сумел услышать, что говорит с ней, и даже вполне спокойным тоном.

— Спасибо, что приехала. Не ждал. — Он поднял на нее глаза, и сразу стало понятно: ждал! Только этого и ждал все последние дни. Марлен сжала его руку в горячих ладонях. — И какая она, твоя жизнь? Как тебе живется, светлая моя?

— Непросто, милый... — Она замаялась, не понимая еще, насколько способен Эрих к дружбе и выслушиванию откровений. В конце-то концов пора ему и привыкнуть. — Жан оказался страшно ревнив. Он нашел твои письма, записки от Джо Пастернака и даже от Пиратки Карстерс. Что было! Он сказал, что уходит навсегда, и хлопнул дверью!

— Ты же знаешь, милая, влюбленные мужчины всегда возвращаются. Если их любят.

— Я люблю тебя, Бони!

Он освободил свою руку из теплого плена и посмотрел на часы:

— Вот и все. Мой поезд отправляется через пять минут. Мы не успели поужинать. Каким коротким и лживым стало счастье.

Едва приехав в Чикаго, Эрих получил от нее телеграмму:

«Проводив тебя, я вернулась к стойке бара и долго сидела там. Шел дождь. Так о многом хотелось поговорить с тобой. Пожалуйста, не забывай меня. Со всей любовью Пума».

бесили пустяшные оговорки, намеки и слухи. Очередной скандал бушевал, как пламя пожара, — не оставляя путей к спасению. Но вскоре они мирились и шли танцевать в один из многочисленных дансингов. Дирижеры в честь появления знаменитой пары играли «Марсельезу». Габен смущался, торопился сесть, Дитрих стоя, с пылом исполняла гимн до последней ноты.

— Милый! — кричала она в телефонную трубку вернувшемуся в Нью-Йорк Ремарку. — Милый, почему все так нескладно? Мои фильмы провалились. У меня руки посудомойки, так много мне приходится мыть и готовить. Такое впечатление, что состарилась вся жизнь!

— Не надо отчаиваться, солнце. Впереди еще много радости.

— Зачем ты говоришь об этом так грустно?

— Я не говорю, я дребезжу, как мусорный бачок...

Марлен позвала его! Она попросила Ремарку помочь переписать диалоги к сценарию фильма «Так хочет леди». Он поселился в отеле Беверли-Хиллз и с удовольствием взялся за работу. Ремарку почти всегда приходилось переписывать диалоги в экранизациях своих романов, вносить в реплики динамику подлинной жизни. Марлен благодарна, она счастлива, что они снова вместе. Но вечером она спешит домой к своему Жану.

— Ты прямо светишься, пума. Сильно тебя задело. — Эрих проводил ее к машине, церемонно распахнул дверцу.

— Мне тяжело, Равик. Жан такой несчастный, такой одинокий в Америке.

— Надеюсь, ему хватает гонораров, чтобы не голодать, и твоих бульонов, чтобы утешиться?

— Не злись, милый. Это совсем нелегко. Иногда мне тоже так необходимо утешение! — Марлен с мольбой посмотрела на него, сверкнув глазами из темноты салона. Эрих захлопнул дверцу и не оборачиваясь зашагал прочь.

Вскоре Марлен получила посылку: статейку из журнала о кино, с умилением расписывающую заботу, которой Дитрих окружила Габена. И кусок ливерной колбасы — для утешения.

За ней последовало другое послание — бутылка шампанского и письмо, полное клокочущей ярости. В нем снова появляется бородатый старик — один из персонажей писем Эриха, написанных в эпоху Порто-Ронко. «Глинтвейщиком» или «велосипедистом» Ремарк называет Габена.

«Бородатый старик спустился в подвал под утесом и принес оттуда бутылку благороднейшего шампанского, полного чистого солнца и благословения земли. «Пошли ей это, — сказал он, — пусть она угостит им своего глинтвейщика-полицейского, или пусть угостит им всю свору мелкобуржуазных прихлебателей, для которых беды рушащегося мира состоят в том, что они пребывают не в Париже а — о, ужас! — в Америке, где им платят огромное жалованье. Сопроводи вино цветами и передай ей»».

Марлен позвонила в ярости. Она рыдала, обвиняя его в непонимании, нежелании видеть ничего, кроме своих оскорбленных чувств. Говорила о том, как трудно ей и как больно думать, что он так безжалостно расправился с тем, что их связывало. И он снова не выдержал, благословляя все, что дала им жизнь.

«Косой луч, молния из небесных зарниц, привет тебе! Подсолнухи прогудели: «разлука, разлука!» — а соколы закричали: «будущее! будущее!» — да будучи благословенны годы, уходящие в небытие. да благословенны будучи милости,

благословенны же и все неприятности, благословенны будут дикие крики и благословенны будут часы остановившегося времени, когда жизнь затаила дыхание — это была молодость, молодость и это была жизнь, жизнь! Сколь драгоценна она — не расплескай ее! — ты живешь лишь однажды, и такое недолгое время...

Я писал тебе когда-то: «Нас никогда больше не будет...» Нас никогда больше не будет, сердце мое.

Коротко любимая и нерушимая мечта».

Получив это письмо, она не могла не примчаться в отель «Беверли-Уилшир», где Ремарк все еще жил. Накануне его отъезда в Нью-Йорк они провели ночь вместе. Сплошное безумие, из которого трудно выбраться. Марлен страшно влюблена в Жана, но здесь, с Эрихом, прошлое обрушивается с такой силой, что все иное кажется ошибкой.

— Бони... — Она остановилась у двери уже одетая. — Может, нам все же пожениться?

— Уходи. Уходи скорее. Иначе я поверю тебе, а потом умру от горя.

Сжав зубы и кулаки, он усилием воли приковал себя к месту, не позволяя телу ринуться за ней. В коридоре застучали каблуки и замолкли. Тихо разъехались и захлопнулись дверцы лифта. А сердце — сердце остановилось.

Уже из Нью-Йорка он пошлет телеграмму: «Незабвенно умирающий... с любовным криком обрушивающийся в смерть... спасибо тебе за вчера...»

#### 4

Студия «XX век-Фокс» заключила контракт с Габеном на несколько фильмов. Де Голль, находившийся в Лондоне, объявил о том, что начинает формировать армию «Свободная Франция». Жан не мог оставаться в стороне. «Хорошо, — сказала Марлен. — Порви контракт и отправляйся на фронт». Она проплакала всю ночь, а утром проводила Габена в темные нью-йоркские доки, где он должен был сесть на судно, отправлявшееся за океан. На причале они клялись в вечной любви и никак не могли разомкнуть руки. Марлен долго провожала взглядом уходящий из порта танкер.

Теперь она чувствовала себя подругой воина и с новым пылом работала на кухне для призывников — мыла посуду и чистила кастрюли по локоть в грязной воде. Это производило потрясающее впечатление на молодых людей, уходящих на фронт.

Марлен удалось узнать, что Габен, служивший в танковых частях, находится в Алжире. Теперь она всеми силами рвалась на фронт.

ОСО — Объединенная служба культурно-бытового обслуживания войск — составляла актерские бригады для обслуживания военных частей. Марлен удается получить распределение в труппу, отправляющуюся в Северную Африку.

Позже она скажет, что война была самым лучшим временем в ее жизни. Именно там, на гибельной черте последнего боя, оказалось, что божественная Дитрих — актриса героического амплуа, а война — самая любимая и самая блистательная ее роль. За проявленное геройство она удостоилась медалей, похвал, уважения, почитания. О времени, проведенном во фронтовых бригадах, повествуют самые вдохновенные истории Марлен.

Труппа Дитрих выступала с первыми шоу в Алжире. Молодые ребята — военные летчики, битком заполнили зал какого-то кинотеатрика. В концертном облегающем платье из золотых блесток перед парнями стояла сама Марлен — богиня экрана. Та, которая могла наслаждаться роскошью Голливуда, но прикатила к ним, в Северную Африку, чтобы поднять настроение перед сражением. И они вскакивали, приветствуя ее радостными воплями. Марлен пела свои знаменитые песни, зал замирал, затаив дыхание.

Между концертами Марлен посещала госпитали, пела или просто навещала раненых. Она любила рассказывать, как врачи подводили ее к умирающим немецким пленным и эти страдающие мальчики смотрели на нее во все глаза.

— Вы, правда, настоящая Марлен Дитрих? — спрашивали они. Наклонившись к несчастным, она тихо напевала по-немецки «Лили Марлен».

## 5

Прошел слух, что на фронт пришло подкрепление — бронетанковая дивизия Свободной Франции. Потребовав джип с водителем, Дитрих отправилась на ее поиски. Они исколесили все дороги и лишь вечером увидели стоявшие под деревьями танки. Люки были открыты, экипажи отдыхали наверху.

«Я бежала от танка к танку, выкрикивая его имя. Вдруг я увидела эту изумительную шевелюру с проседью. Он стоял ко мне спиной.

— Жан! Жан, mon amour! — крикнула я.

Он обернулся, воскликнул «Merde!» и, соскочив с танка, заключил меня в объятия».

Они стояли, тесно прильнув друг к другу, не замечая чужих тоскующих глаз, завидующих седому человеку, который держал в объятиях мечту. Поцелуй затянулся, и танкисты, сорвав с головы форменные береты, громко приветствовали их.

Звук заведенных моторов заставил их разомкнуть объятия. Жан снова поцеловал Марлен.

— Мне пора, *ma grande, ma vie* (моя великолепная, моя жизнь).

Фронтальная встреча, любимый, исчезающий в танке, возможно, навсегда — это было в жизни Марлен, и это было всерьез, как бы ни отдавал киномелодрамой ее рассказ.

А вот еще одна ее история, тоже правдивая и тем не менее — вполне кинематографическая.

«В тот день, когда мы давали концерты в старом амбаре, холод пронизывал до костей — холод, мрак и совсем рядом канонада близкого боя. Я стояла в своем золотом узком платье, освещенная лишь фонариками ребят, направленными на меня.

Под переборы одинокой гитары я тихо пела, обнимая самодельный микрофон. Для измученных войной мужчин я была воплощением мечты о всех любимых женщинах. Как стрекот сверчка, раздавался звук застегиваемых молний. Я пела всем известные песенки «Что выйдет у ребят из задней комнаты», «Я ничего не могу дать тебе, кроме любви» — пела для них.

Прозвучала команда: на выход!

— До встречи, Марлен!

— Эй, крошка, адыю!

— Прощай, конфетка.

И они уходили — нести смерть или встретить ее. Я стояла там, замерзшая, всеми брошенная, и смотрела, как они уходят».

Африка, Сицилия, Италия, Испания, Гренландия, Исландия, Франция, Бельгия, Голландия, Чехословакия — маленькие городки, деревни, полевые лагеря. Бомбежки, грязь, вши. Окопное братство актерской труппы и отчаянное желание Марлен скрасить участь уходящих на смерть ребят. Позже она сама признавалась, что не могла отказать в близости этим мальчикам, оказавшимся перед лицом смерти. В плотской радости, столь необходимой им перед боем и, возможно, последней в их жизни. Тем более что «любовное крещение»

парень принимал от самой Марлен — Королевы мира.

Когда Марлен попросила послать ее к войскам, вступившим в Германию, командование отказало ей. Генерал Омар Бредли вызвал Дитрих в свою ставку.

«Генерал Бредли находился в своем вагоне. Кругом были развешаны карты. Генерал выглядел бледным и усталым. «Я вам доверяю», — сказал он мне. Я ответила: «Благодарю вас, сэр».

Он продолжил: «Завтра мы будем на немецкой земле, а вы находитесь в тех частях, которые первыми туда войдут. Я говорил о вас с Эйзенхауэром, и мы оба решили, что вам лучше остаться в тылу, выступать в прифронтовых госпиталях... Мы не можем подвергать вас опасности... Нацистов очень устроит, если вы попадете к ним в руки. Они могут сотворить из этого сенсацию». Я сделала все, чтобы изменить решение генерала, просила, умоляла... В конце концов он разрешил мне отправиться в Германию».

Вопреки опасениям генерала, в Германии Марлен не приходилось слышать ни угроз, ни оскорблений. Она утверждала, что жители разрушенных бомбежкой городов выказывали ей уважение и симпатию. Они гордились тем, что великая Марлен — немка.

## 6

Все эти месяцы — с апреля 1944-го по июнь

1945-го, которые Дитрих провела во фронтовых бригадах, мысли Ремарка были с ней. Он заканчивал «их роман» — «Триумфальную арку», заново переживая свою мучительную любовь. Равик — бежавший от фашистов врач, нелегально живущий в Париже, прошедший через ужасы гестапо и переселенческих лагерей, выслеживает попавшего в Париж гестаповского мучителя. Он убивает его, зная, что тем самым обрекает себя на гибель, в лучшем случае — на новое бегство. Равик совершил свой подвиг на своей личной войне. А Жоан ушла навсегда, освободив Равика от наваждения. Ремарка тоже. Отдав роман в печать, он впервые вздохнул свободно.

В послевоенной Америке — упадок экономики и разгул бюрократии. Вернувшиеся с фронта оказываются не у дел. «Чем больше солдат возвращалось с фронта, тем меньше было работы, — вспоминает Марлен. — Мы были вне себя от обиды и возмущения... горький, горький послевоенный опыт».

Габену отказывают в Голливуде: «Вы слишком долго не появлялись на экране, и о вас забыли». Он возвращается в Париж и умоляет Марлен приехать сняться с ним в фильме и выйти замуж. Дитрих телеграфировала, что готова сделать и то, и другое.

19 февраля 1945-го она приехала в Париж. Бурная встреча с Жаном, клятвы, заверения в вечной любви. Они вместе снимаются в фильме «Мартен Руманьяк». Марлен вновь играет роль прекрасной женщины, вызвавшей соперничество двух мужчин и погибающей от руки одного из них. Но Марлен не торопится расторгнуть брак с Рудольфом Зибером, дабы навсегда связать свою судьбу с Габеном. Ее пугает непримиримая ревность Жана и мешает новое увлечение.

Маленькая, худенькая женщина сделалась сенсацией послевоенного Парижа. «Парижский воробушек» — Эдит Пиаф — гениальная и несчастная! Марлен не могла не увлечься — сочетание мощной одаренности с незащищенностью, взывающей к помощи хрупкостью, сразило ее. А сколько страсти, влекущей эротичности в каждом звуке удивительного голоса! Она матерински опекала Пиаф, осыпала подарками, советами и любыми наркотиками, какие бы ее новая любовь ни пожелала. Когда Пиаф выходила замуж, Марлен заказала свадебное платье у Диора — точную копию своего собственного шифонового. Она одела невесту, повесила изящный золотой крестик на ее шею и, подобно мужчине-возлюбленному, из рук в руки передала другому.

«Лучший друг» — так называла она свои отношения с Пиаф. Но Габен думал иначе, имея для этого веские основания. Кроме того, он наслышан о фронтовых «подвигах» Дитрих, бешено ревнует Марлен и к «боевым связям», и к Пиаф, и к молодому генералу, с которым у Марлен все еще продолжался «полевой роман». Он то требует от нее признаний, то вымалчивает прощение. Зная, как нравятся Марлен акварели Сезанна, Габен делает ей подарок, присовокупив к Сезанну два рисунка Дега.

Недолгое затишье, и новая ссора. Наконец, последняя.

«Я ухожу, — написал Жан. — Это конец».

Она не могла поверить в серьезность его заявления даже тогда, когда подняла телефонную трубку и услышала его низкий голос, звучащий еще глуше, чем обычно:

— Я женюсь, Марлен. Ты свободна.

— Ты не можешь этого сделать, Жан! — Она побледнела и судорожно сжала трубку. — Ты совершаешь ужасную ошибку! Я знаю, это из-за меня, ты хочешь отомстить мне! Не надо, любовь моя! Пойми,

ни одна случайно встреченная женщина не будет тебе по-настоящему близка. Близка настолько, чтобы стать женой! Спи с ней, моя любовь, если так уж надо. Но жениться? Зачем? Только для того, чтобы завести ребенка и стать настоящим буржуа?

Она молила его, говорила, что безмерно любит, а он просто положил трубку.

Да, у этого несгибаемого мужчины был железный характер!

Жан Габен женился на Доминик Фурье, столь внешне похожей на Марлен, что ее принимали за младшую сестру Дитрих. Марлен не верила в серьезность этого брака и находила любой повод, чтобы встретиться с избегавшим ее Габеном. Элегантная, лучающаяся радостью, она ринулась к нему на балу кинозвезд. Он повернулся спиной, «не заметив ее». Габен счастливо прожил с женой четверть века, вырастив двух дочерей и сына.

## 7

В тяжкие дни разрыва с Габеном Марлен читает вышедший роман Ремарка. Ее потряс финал — смерть Жоан. Но в остальном она ожидала от Ремарка другого. И как ему пришло в голову сравнивать их — Марлен и Жоан — маленькую ресторанный певичку, обычную шлюху. Жоан — особа мелкая и совершенно неинтересная. И это по ней сходит с ума Равик? Конечно, он мог бы написать иначе. Так, как писал об их любви в письмах, так, как достойна того она, Марлен — единственная Избранная. Марлен скажет об этом другим, Эриха она огорчать не станет. Просто напишет ему отчаянное письмо, говорящее больше, чем упреки или критика.

«Не знаю, как к тебе обращаться, — Равик теперь наше общее достояние... Я пишу тебе, потому что у меня вдруг острый приступ тоски — но не такой, какой она у меня обычно бывает. Может быть, мне не хватает бутербродов с ливерной колбасой, утешения обиженных, — и душевных бутербродов с ливерной. Париж в сером тумане, я едва различаю Елисейские поля. Я в растерянности, я опустошена, впереди нет цели... Не знаю, куда девать себя... Вчера вечером нашла за портретом дочки три письма от тебя. Письма не датированы, но я помню время, когда ты их посылал. Это воспоминания о наших годах, и ты еще негодуешь на меня за то, что я впадаю в «мелкобуржуазность».

У меня никого больше нет, я больше не знаю покоя! Я дралась с одними и другими (не всегда с помощью самых честных приемов), я выбивала для себя свободу и теперь сижу с этой свободой наедине, одна, брошенная в чужом городе! Я пишу тебе без всякого повода, не сердись на меня. Я тоскую по Альфреду, который написал: «Я думал, что любовь это чуда и что двум людям вместе намного легче, чем одному, как эроплану». Я тоже так думала.

Твоя растерзанная пума».

Ответ пришел через месяц и вовсе не такой, какой она ждала.

«Я хотел написать тебе, потому что чувствую, что ты в чем-то нуждаешься: в иллюзии, в призыве, в чьей-то выдумке, в нескольких императорских колокольчиках, хризантемах и крылышках бабочек в засохшем огороде гиперборейцев, среди которых ты живешь...

...Я собирался, я сядил за стол, я пытался начать, я взывал к прошлому, — и не получал никакого ответа...

...Как оно распалось, беззвучно и как бы призрачно: не успев засветиться, оно превращалось в серую безжизненную ткань, в ломкий трут, в пыль, быстро растекающуюся по сторонам, а вместо него появлялись тривиальные картинки голливудской жизни, слышался жестяной смех — и делалось стыдно.

Но ведь этого не может быть! Ведь не может быть, чтобы ты и время с тобой, по крайней мере, время в Париже (и на взморье), выпали из моей жизни, как камешки. должно же что-то остаться, не может быть, чтобы эти мрачные перемены в Голливуде все заглушили, все смешали, стерли и испоганили! Ты ведь была когда-то большой, осталась ты такой по сей день?

...Наша молодость пришла в упадок, в забвение, поблекла и померкла, она разрушена — я говорю не о моей жизни. Моя сложилась хорошо, она отрешилась от лет голливудского позора, она обогатилась, и мечты осуществились, — я говорю о твоей доле прошлого, сделавшейся до ужаса нереальной, будто о ней я прочел однажды в какой-то книжке.

...Ты в этом неповинна. Вина на мне. Я в те времена забирался в мечтах чересчур высоко... Я хотел превратить тебя в нечто, чем ты не была. Это никакая не критика. Это поиски причин, почему из шепота прошлого удастся слепить так мало. В этом-то, наверное, вся суть. Поэтому и нет ответа... Ах, как бы я желал, чтобы этого было больше! Ведь то, чем мы обладали совместно, было куском нашей безвозвратно уходящей жизни; ты же была в садах Равика, и созвучие там было полным, и сладость была, и полдень, и неслышимый гром любви.

Мне бы лучше не отсылать это письмо. Я не хочу зажигать факелов прошлого, не хочу тревог. Теперь я так мало знаю тебя. Сколько лет прошло!

Альфред, которого я позвал, стоит рядом. Он хочет что-то сказать тебе. «Почему ты ушла? Было так хорошо».

Кажется, это последняя точка — все прошло. Но он лжет, этот «несгибаемый» Бони. Равик в романе скорее похож на Габена — сильный, бескомпромиссный, скупой на слово и романтические порывы. Так странно, словно Эрих сумел провидеть характер возлюбленного Марлен и воплотить в персонаже, прообразом которого считал себя. Или он чувствовал, что именно этих черт ей не хватало в нем самом? Да, она все еще любит Жана, как и генерала, и Пиаф, и партнера по новому фильму. Кто сказал, что любить можно одного? Во всяком случае тот, кто придумал моногамию, не закон для Марлен. Не приговор и последнее письмо Бони, забывшего якобы прошлое. Бони не стальной Равик, он сделан из более мягких материалов. Не финиш и эта книга. Возможно, он еще напишет про них другую. Он так склонен к метаниям, перепадам чувств. Марлен всегда удавалось вернуть его.

Теплые переговоры по телефону, и Ремарк соглашается на свидание с Марлен. По дороге из Европы в Голливуд она непременно заедет в НьюЙорк. Она сказала: «Хорошо бы встретиться и поболтать».

## 8

Ужин в отличном ресторане. Марлен не похожа на стильно декорированную диву из «Лидо», где произошла их первая встреча. Хорошо и со вкусом одетая деловая женщина, не притязаящая на бурную реакцию фанатов. Ей сорок четыре, а выглядит едва на тридцать. Светлое, дивное лицо! Эрих и сейчас мог бы написать все то, что как загипнотизированный

писал в первых письмах к ней, что сочинял потом в печальном романе «Триумфальная арка».

Он насторожен и напряжен. С изысками гурмана и озабоченностью подлинного знатока вин продиктовал меню ужина.

— Минутку! — Марлен остановила официанта и обратила к нему повелительный взгляд: — Кусок ливерной колбасы для дамы. И поскорее.

Выражение лица официанта не поддавалось описанию. Закинув голову, Ремарк от души расхохотался. С этого момента смешинка не покидала их. Смеялись над общими воспоминаниями, его ишиасом, забегами в приморские бары, над пыжившимся Папой Джо, над увлекавшим Марлен Гитлером, над прошлыми и теперешними неурядицами — старые добрые друзья.

— У тебя голодный вид, ты похудел, Бони. Теперь-то я буду рядом и смогу подкормить тебя домашним, — сказала Марлен на прощание и вдруг заглянула ему в глаза: — Может, начнем все заново? — И она снова засмеялась.

«Ангел, мне кажется, у тебя нет немецкого экземпляра нашей книги, поэтому я посылаю тебе вот этот...

Обнимаю. Р.

Можешь ты устроить так, чтобы снова пообедали и посмеялись вместе? Если не выходит вечером, согласен и на ланч», — пишет он Марлен в Беверли-Хиллз из нью-йоркского отеля.

Неизвестно, был ли совместный обед, но очевидно главное — заново ничего не начинается. Это понимали оба, тем более что у Марлен разгорелся очередной роман. Да и Эрих был увлечен.

## 9

В декабре 1947 года проживший девять лет в Америке Ремарк получает американское гражданство вместе с фиктивной женой Юттой.

Процедура проходила не слишком гладко. Ремарка безосновательно подозревали в симпатиях к нацизму и коммунизму. Вызывал сомнение и его «моральный облик», его расспрашивали о давнем разводе с Юттой и причинах вторичного брака, интересовались связью с Дитрих. Но в конце концов сорокадевятилетнему писателю позволили стать гражданином США.

Теперь-то Ремарк с наслаждением покинул Америку, так и не ставшую ему домом. Вилла в Порто-Ронко сохранилась. В парижском гараже все годы войны простояла, ожидая хозяина, «ланчия». После девятилетнего отсутствия Ремарк возвратился в Швейцарию.

Он пишет Марлен:

«Ах, милая, никогда нельзя возвращаться!.. Я здесь за 10 лет превратился в легенду, которую стареющие дамочки по дешевке, за десять пфеннигов, пытаются разогреть — омерзительно... Ты — чистое золото! Небо во множестве звезд, озеро шумит. давай никогда не умирать».

Марлен присылает весточку из Нью-Йорка.

«Мой милый, грустное воскресенье — солнце в Центральном парке сияет как фиакр, по радио итальянские песенки, а дома нет даже «утешения огорченных»!.

Я много думаю о тебе...

Обнимаю тебя тысячу раз. Твоя пума».



На самом деле грустить ей некогда. В 1947 году Марлен играет цыганку в фильме «Золотые серьги». В том же году Билли Уильдер — великолепный сочинитель комедий, тонкий стилизатор, известный по фильмам «Свидетель обвинения», «Квартира», «В джазе только девушки», предложил Дитрих роль в фильме «Зарубежный роман», где ей надо было сыграть певичку, пытающуюся выжить в послевоенном Берлине. Она с наслаждением работает с Билли, увлекается им и своей ролью, вдохновенно повторяет платье с блестками, которое носила в военные дни, и выглядит фантастически.

Вышедший в 1948 году фильм «Зарубежный роман» успеха не имел. Марлен привыкла к тому, что после фон Штернберга ее роли в кино оставались почти незамеченными. Она продолжает вести светскую жизнь, не отказываясь от поиска значительных мужчин, способных стать достойным партнером, с увлечением осваивает роль бабушки: у Марии появляется перенец.

Ремарк не сидится в Порто-Ронко. Он путешествует по Европе, снова посещает Америку, где живет Наташа Браун — его возлюбленная с голливудских времен. Француженка русского происхождения, конечно же, была умна и очень хороша собой — неперемные условия увлечений Ремарка. Но роман с ней, так же как с Марлен, был для Эриха мучителен. Они встречались то в Риме, то в Нью-Йорке и, едва пережив радость встречи, тут же начинали ссориться. Ремарк в который раз окунался в сладкую пытку одиночества. И снова писал Марлен.

«Десять лет — как они отлетели! За окнами опять стоит синяя ясная ночь, сигналият автомобили, портье без конца подзывает свистками такси, и звуки при этом такие, будто в каменном лесу раскричались металлические птицы. Орион стоит совсем чужой за «Уолдорф — Асторией», и только лампа на моем письменном столе светит мягко и по-домашнему. Мы больше нигде не дома, только в самих себе, а это частенько квартира сомнительная и со сквозняками.

Ах, как все цвело! Ах, как цвело! Мы часто не понимали этого до конца. Но оно было, да, было, и похитители смогли из этого мало что отнять...

Беспокойное сердце, я желаю тебе всех благ: в эти дни, когда воспоминания воскресают и окружают тесным кольцом, глядя на меня своими грустными красивыми глазами, собственной сентиментальности стесняться не приходится. да и когда вообще мы ее стеснялись? Никогда, пока дышишь и ощущаешь ее загадочные объятия, пока слышишь ее шепот и в силах еще отвлечь медленное самоубийство жизни с ее картинками вне всякого времени.

Всего тебе наилучшего, беспокойное сердце! Мы вне времени, и мы молоды, пока верим в это! Жизнь любит расточителей!»

Свое 50-летие в 1948 году (про которое сказал «Никогда не думал, что доживу») Ремарк встретил у себя на вилле. Вечером пришла телеграмма от Марлен из Нью-Йорка:

«Весь день и весь вечер пыталась дозвониться до тебя. Поздравляю с днем рождения. Только потому, что я люблю тебя, не скажу тебе, как бы мне хотелось, чтобы ты оказался здесь, в этом богом забытом городе. Пума».

Ремарк посылает Марлен толстый конверт с фотографиями. Разве «небесное создание» когда-нибудь придет сюда? Но не подает вида — подавленное настроение становится нормой, тоска сжимает сердце, только показывать это вовсе не хочется. Равику присущ бодрый тон.

«Небесное создание! Спасибо тебе за поздравительную телеграмму. Вот

фотографии с домом, который ты никогда не видела. Вот тут-то я работаю, радуюсь своей жизни и сожалею о том, что ты никогда здесь не бывала. Полнолуние, террасы, вино, Йоганнес-бургер 48, жасмин, акации — чего еще желать? Когда-нибудь ты все-таки все это увидишь».

## 11

Летом 1949 года Альфред Хичкок предложил Дитрих роль в своем фильме «Страх сцены». Марлен согласилась при условии, что ей позволят самой выбрать парижского модельера, способного создать необходимые ей костюмы. Марлен едет в Париж, чтобы заказать серию туалетов у Диора. Ремарк тоже здесь.

Они обедают в «Медитерране» — садятся за тот самый столик, который был памятен Марлен и по визитам с Ремарком и по ужинам с Габеном. Драпировки вишневого бархата, золотые кисти на высоких окнах, за которыми сияет летний день. В хрустальных ладьях с букетиками фиалок играет солнце. Несколько секунд они рассматривают друг друга и остаются довольными: Марлен в отличном настроении, несмотря на грустные письма, Эрих совсем не плох после нервного приступа с Наташей Полей.

— Марлен, что я вижу — бант! — Он кивнул на небрежно повязанный шарф в черно-белую диагональную полосу, украшавший элегантный черный костюм.

— Фи, Бони! Это же Диор! Мне кажется, он самый стильный модельер. Ни бантиков, ни оборочек, ни рюшечек у меня никогда не будет. Не дождетесь — Марлен еще в своем уме. А ты... — Она окинула насмешливым взглядом его безупречную синюю тройку из бостона в тоненький белый рубчик. — Точно такой костюм я видела на Рузвельте в 1945 году.

— Мне только что сшили его в Лондоне. А как тебе мой галстук? Тона вечернего Мане.

— Галстук должен быть как у де Голля. На последнем приеме у него был сине-красный. Но очень деликатный. Шарль вообще неподражаем! Как всегда, я не могла удержаться, чтобы не сказать, как я люблю его.

— Кажется, я начинаю понимать, откуда веет таким жаром — ты переполнена любовью, дивная.

— Отодвинь стул — ты весь под солнцем. Надо было сесть на веранде.

— Кажется, ты сама выбрала этот столик. Что, приятные воспоминания, милая?

— Ах, что же тут приятного? Трагедия. Мой «велосипедист» ждет ребенка! Я подсчитала срок, и вышло, что Габен зачал наследника в первый же день знакомства с этой мымрой!

— От всей души поздравляю. Теперь-то ты больше не будешь ждать, что однажды распахнется дверь и твой герой ворвется к тебе с распахнутыми объятиями...

— Утешение разбитого сердца в работе. Знаешь англичанина Хичкока? Прославленный мастер криминального жанра. Предложил мне роль. Фильм будет называться «Страх сцены». Я играю звезду театра, которую герой обвиняет в приписанном ему убийстве. Его играет Майкл Уайлдинг — британский вариант Стюарта.

— О, это опасно, — при упоминании имени Стюарта Эрих не сдержал кривой улыбки.

— Да чего они все стоят в сравнении с тобой? Мелкая рыбешка. Утешение в печали.

— И все же ты бросала меня ради этой рыбешки.

— Тебя я никогда не бросала. Я с тобой всегда и, что бы там ни происходило, держусь за связывающую нас ниточку. Двумя руками, — Марлен протянула ему ладонь. — Посмотри, линия главной любви у меня очень длинная. До конца.

Она никогда не оставляла нужного ей мужчину без надежды. Все эти годы после разрыва старалась поддержать в Ремарке огонек влюбленности. К чему же тогда терять время на ужины и улыбки? Она все делала в полную силу, не терпя небрежности даже в мелочах.

Вернувшись в Порто-Ронко, Ремарк живет уединенно, работает над романом «Искра жизни». Это была первая книга о том, что он не испытал сам — о нацистском концлагере и смерти его двоюродной сестры Элфриды. Сорокатрехлетняя портниха Элфрида Шольц по приговору фашистского суда была обезглавлена в берлинской тюрьме в 1943 году. Ее казнили «за возмутительно фанатическую пропаганду в пользу врага». Одна из клиенток донесла: Элфрида говорила, что немецкие солдаты — пушечное мясо, Германия обречена на поражение и что она охотно вlepила бы Гитлеру пулю в лоб.

На суде и перед казнью Элфрида держалась мужественно. Через двадцать пять лет именем Элфриды Шольц назовут улицу в ее родном городе Оснабрюке. А пока Эрих пишет посвященную ее памяти книгу.

«Только мужчина, бесстрашно противостоящий своим воспоминаниям... способен ступить в ту комнату, в которую — в другой жизни! — в широком, свободном, колышущемся платье из тропических бабочек ворвалась однажды некая Диана из серебряных и аметистовых лесов, вся в запахах горизонтов, вся дышащая, живая и светящаяся. И вместо того, чтобы жаловаться, испытывая вселенскую ностальгию, он пьет старый коньяк, благословляет время и говорит: все это было!»

Мир был открыт перед нами, и дни были калитками в разные сады, и теперь вот я возвращаюсь обратно...»

Здоровье Ремарка ухудшилось: головокружения и подавленное настроение мешали работе. Врачи обнаружили у него синдром Меньера — редкую патологию внутреннего уха, ведущую к нарушению равновесия. Но хуже всего было душевное смятение и депрессия.

С ноября 1948-го до середины 1949 года он находится в больнице Нью-Йорка, Марлен, живущая там же, заботливо ухаживает за ним. Поднимает на ноги персонал больницы, следит за приемом лекарств, дает советы всем — от главврача до санитарки. Позже, когда Дитрих будет вынуждена обращаться к врачам (лишь в самых крайних ситуациях и под нажимом дочери), она «наведет порядок в медицине». Непомерная требовательность, капризы, отказ подчиняться предписаниям специалистов сделают ее ужасом больничного персонала. Выйдя из больницы, Ремарк снова поселяется в нью-йоркской гостинице.

Марлен Ремарку:

«Любимый, я пыталась застать тебя, но тщетно. Надеюсь, тот факт, что ты не отвечаешь на звонки, означает, что ты следишь за собой — и, значит, здоров. Девушки уверяют, что ты свои «пилюли» принимаешь, — значит, ты, скорее всего, не настолько болен, чтобы даже по телефону не разговаривать... 10 000 поцелуев. Твоя пума».

Она вихрем ворвалась в его номер с объемистой сумкой. Мгновенно оценила состояние выздоравливающего, качество уборки номера. Лежавший в постели Эрих сел, отбросив одеяло, надел велюровый халат с брандербурями.

— Не вставай! Тебе надо хорошенько отлежаться, — остановила его Марлен.

— Я уже отлежал бока.

— Не позволяй горничным так много прыскать здесь этими вонючками.

— «Аромат Розы» — отдушка для туалета.

— Настоящая газовая атака. У тебя ввалились глаза. Опять нет аппетита? — Она принялась вытаскивала из сумки различные упаковки, термосы. — Смотри, в этой коробочке крем для кожи. Понюхай, какой аромат! А это — мои последние фотографии. — Она положила на одеяло большой конверт и продолжала разбирать принесенное. — В термосе гуляш, только, пожалуйста, не соли. Я все уже положила. Здесь яблочное пюре, еще тепленькое. Тебе надо есть домашнее, на этих резиновых бройлерах долго не протянешь. — Марлен спрятала продукты в холодильник. — Ты всё понял?

— Потрясающе! — Эрих рассматривал фотографии. — Похоже, ветер времени тебе нипочем; можно подумать, что все это снято в Берлине, еще до коричневого девятого вала, и где я вот-вот увижу тебя.

Марлен присела на постель, поправила плед, подобрала соскользнувшие на ковер фото:

— Это мои коронные туалеты... Эффектно, правда?

— Еще бы! Марлен — это непременно туалеты.

— Изо всех сил стараюсь, чтобы люди выбрасывали деньги не напрасно. Они приходят за праздником, не буду же я их обманывать! Чего стоили бы все эти дурацкие фильмы без меня?

— Здесь ты похожа... Похожа на ту, гордо шагавшую по Парижу в сопровождении толпы. В лице нечто возвышенное и отрешенное.

— Париж? Тогда, в «Ланкастере»? Помню! Приходил какой-то нацист с выводком охранников и расписывал, как я нравлюсь Гитлеру. А ты сидел в ванной!

— Мы оба были влюблены до одурения. Но как все цвело! Как блестели бабочки орхидей в блеклые парижские ночи! А свечи цветущих каштанов во дворе «Ланкастера»? Все цвело вокруг, и Равик приветствовал рапсодиями утро, когда оно беззвучно приходило в серебряных башмаках...

— Мы завтракали у открытого окна... И не догадывались, что все проходит. В серебряных башмачках или военных сапогах... Оно неумолимо, время. Даже с такими забывчивыми людьми, как мы. Ведь мы забывали о нем.

— Не знали, как мало времени нам отпущено. Полагались на вечность. Мы были так молоды. И нам было хорошо. Мы любили жизнь, и жизнь отвечала нам бурной взаимной любовью. И вдруг... ничего не осталось...

— Мне вовсе не нравится, когда ты хандришь. — Марлен поднялась и собрала фото в конверт. — Радуйся, что тебя выпустили из больницы живым. Я страшно волновалась! А как же? Все врачи — идиоты! К ним в руки лучше не попадаться, найдут тысячу болезней и примутся лечить. А сами понятия не имеют, как это делается. Залечат до смерти.

— Меня консультировал психиатр. И знаешь, что открыл? — Эрих положил голову на колени Марлен. — Так совсем хорошо... Меньер отступает. Тебе бы следовало сразу предложить для лечения моей головы свои колени. А психиатр оказался въедливый. Вопросами замучил.

— Наверняка какой-нибудь ученик Фрейда. Шарлатан! Уж представляю, что он тебе наговорил! — Она погладила его волосы. — Почему не моешь голову моим шампунем? Смотри, облысеешь, Бони!

— Ах, лысый идиот — это вполне органично. Если бы ты знала мои диагнозы десять лет назад, то прогнала бы меня прямо там, в Венеции. Оказывается, я — человек с огромными жизненными амбициями, начиненный под завязку комплексами неполноценности.

— А это, милый мой, похоже на правду! Тебе всегда не нравилось написанное, и ты был убежден, что твои новые книги никому не нужны.

— Кроме того, как объяснил мудрый психиатр, я всегда боялся, что меня никто не полюбит по-настоящему. И все потому, что в детстве страдал от недостатка материнской любви. Три первых года моей жизни мама не замечала меня, она была полностью поглощена

выхаживанием моего больного старшего брата. Ну... А потом я стал требовать недополученной любви от женщин.

— Выходит, каждый бабник пострадал от материнского невнимания?

— Не только пострадал, но и обзавелся потребностью в мучениях. Этаким мазохизм в отношениях с женщинами. Спасибо тебе, сестричка, ты меня изрядно помучила.

— Искуплю свою вину уходом за больным стариком с комплексами. — Марлен поднялась, быстро привела в порядок комнату, заглянула в ванную, выбросила в корзину старый шампунь и крем. — Учти, милый, тебе отдает свободное время не какая-то праздная домохозяйка. Тебе варит и парит сама Марлен!..

Следует короткая деловая переписка: Ремарк Марлен:

«Моя милая, тысячу раз благодарю тебя за все красивые вещицы. Я часто пытался дозвониться до тебя, но не заставал. Я все еще не в порядке. Будь ангелом и осчастливь меня снова — завтра или послезавтра — порцией говядины с рисом... Господь воздаст тебе — станешь сенсацией экрана».

И опять:

«Милая, сердечное спасибо тебе! Если бы ты снова сварила для меня горшочек вкуснейшей говядины в собственном соку, думаю, я бы был спасен. Я набрал вес и должен отныне сам собой заниматься, потому что могу употреблять в пищу «бройлерное» и заказывать сюда разные блюда. Но твои вкуснее».

Марлен Ремарку:

«Поверни крышку термоса вправо и сними. Положи туда оставшийся у тебя рис и все вместе подогрей».

Ремарк Марлен:

«Спасибо большое за питье и жаркое... Моя любовь не шутка — ее имя — незабудка. Альфред».

Марлен Ремарку:

«Любовь моя, вот говядина без единой жиринки в собственном соку. Мясо можешь съесть или выбросить. Главное — соус».

Ремарк Марлен:

«Соус дивный. Говядина — пальчики оближешь. Похоже, я становлюсь обжорой. Интересно, это от каких таких комплексов? Будь благословенна, возлюбленная жизни и всех умений».

«Возлюбленная жизни...» — Эрих это понял давно. Жизнь любила Марлен, была ли она сентиментальной или деловой, расчетливой или расточительной, жестокой или сентиментальной. Она все так же влюбляется, снимается, часто летает в Париж. Самолеты стали надежнее, и страхи Марлен отступили перед удобством и быстротой воздушного передвижения. Она поднимается в самолет с неизбежным набором амулетов от непременной тряпичной куклы-негра, сопровождавшей ее со времен «Голубого ангела», до заячьей лапки

и крестика. Этот странный набор берегов помогает. Самолеты падают, но не с Марлен.

Марлен в полном упоении от начавшегося романа с Юлом Бринером, что вовсе не означает отставки Уайлдинга, генерала, Пиаф и наличия мелких увлечений. Идут съемки новых фильмов — тоже, увы, для карьеры Дитрих не знаменательных.

Зато назревает нечто совсем иное. Судьба уже устилает цветочными коврами уготованный для своей любимицы путь. Надо лишь слегка поднажать и распахнуть дверь. Однако сделать это может лишь Марлен.

Марлен предложили принять участие в гигантском благотворительном шоу в роли инспектора манежа. Были изготовлены костюмы, но она, как всегда, внесла поправки. Задолго до появления женских облегающих шорт Дитрих появилась на арене в крохотных бархатных штанишках, надетых поверх черных шелковых колготок. Белый галстук, ярко-красный фрак, блестящая маленькая шапочка и хлыст в руке! «Вог» поместил цветную фотографию Дитрих в эффектном костюме на целой странице, все газеты объявили ее звездой представления.

Это стало началом новой блистательной карьеры Марлен. Случайность? А кто бы кроме Марлен дерзнул на такое? Стандартная красавица в вечернем туалете тут же была всеми забыта. Дерзость Марлен произвела фурор. Хозяин отеля «Сахара» в Лас-Вегасе предложил ей за выступление в ресторане отеля огромные гонорары. Марлен пишет Ремарку в Порто-Ронко:

«Любовь моя!

Как твой Меньер? Не штормит? Если нужны еще таблетки, я вышлю.

Интересная новость: подписала контракт с «Сахарой» — 30 000 долларов за два выступления в неделю! Представляешь, за этот год я заработаю массу денег, и все помимо кино. Буду петь песенку распорядителя манежа в костюме из циркового представления. Потом хочу сделать телепатический сеанс чтения мыслей, как делала на фронте. И конечно, петь. Все должно уложиться в 25 минут, чтобы люди успели отдохнуть и отправиться в казино. Я все уже продумала. Впервые появилась в сумасшедшем «голом платье». Это шедевр Жана Луи. Такое впечатление, что блестки нашиты прямо на кожу! И знаешь, я совершенно не боюсь сцены. Не понимаю тех, кто жалуется на мандраж перед выходом к зрителю. Боишься — не выходи! У меня получится, и это будет пуля! Если сумеешь выбраться, я буду петь для тебя одного. Рабочая пума».

27 декабря 1951 года Марлен исполнилось пятьдесят лет. Она предпочла этого не заметить. Прежде всего из-за смещенной даты рождения, а главное, потому, что искренне считала себя неподвластной времени. И в самом деле, выглядела она на тридцать и не теряла юного аппетита к жизни. Она даже мечтала о том, чтобы родить от Юла Бринера, к которому продолжала пылать страстью. И успевала все — перелеты, свидания, подготовки к концертам.

Первое же выступление Дитрих в «Сахаре» стало триумфом. «Голое платье» — сенсацией. Это была находка Марлен, создающая впечатление обнаженного тела при полном соблюдении правил хорошего тона. Закрытое под горло узкое платье из телесного цвета полупрозрачной ткани «суфле» (надетое, разумеется, поверх мудреного корсета того же цвета) было усыпано мириадами блесток, редеющих по мере приближения к бюсту. В свете прожекторов блестки мерцали, и вся фигура выглядела безупречно-скульптурной «обнаженной натурой». Марлен наслаждалась ежевечерним восхищением зрителей и считала, что сцена, прямой контакт с публикой дают куда большее удовольствие, чем успехи на экране.

Идея «голового платья» от Жана Луи была воплощена в трех вариациях — телесной, черной и золотой. Марлен умело преподносила их, придумав вентилятор на рампе, который заставлял трепетать тонкую ткань, эффектно обыгрывала длинную лестницу, по ступеням

которой шла, небрежно волоча роскошные меха. Одно из платьев, переливчатое, из черного стекляруса, она метко окрестила «угрем». Оно сопровождалось шубой и трехметровым шлейфом, на который пошел пух двух тысяч лебедей. Платья от Жана Луи работали на легенду. Примерки длились по восемь-десять часов, на протяжении которых Марлен стояла неподвижно, лишь меняя в мундштуке сигареты, и отрывисто командовала, куда передвинуть блестку. Мириады бусинок были примерены и уложены с фантастической тщательностью, пока Дитрих не одобряла работу. «Дитрих была и кошмаром, и праздником», — вспоминали ее портные и стилисты.

Новая волна славы пришла к ней вместе с выступлениями в театрах. Марлен предложили четырехнедельный ангажемент в знаменитом лондонском «Кафе де Пари». В придачу — легендарные апартаменты в отеле «Дорчестер» и столько «роллс-ройсов» с ливрейными шоферами, сколько ее душе угодно. Марлен задумалась и поставила условие — перед ее выступлением на сцену должны выходить звезды и произносить восторженные вступительные речи. Настоящие звезды — Лоуренс Оливье, Майкл Редгрейв, Алекс Гиннес, Пол Скофилд. И согласилась лишь тогда, когда условие было принято.

Свое появление на сцене Марлен продумала и отработала до мельчайшей детали, добиваясь ошеломляющего впечатления.

Она появлялась на верхней ступени витой лестницы и останавливалась в ярком свете прожекторов. Замирала, давая возможность волнам восторга омыть ее с ног до головы. Потом медленно начинала спускаться к небольшой сцене. Глядя перед собой, не на миг не опуская глаз на ступеньки, никогда не касаясь перил, она величаво плыла, плотно облегавшее ее платье сверкало и переливалось, ноги от стройных бедер до атласных туфельек были одно плавное движение. Внезапно Марлен замедляла шаг, останавливалась. Слегка прильнув спиной к белой колонне, поглубже куталась в мех роскошного мантио и бросала на замороженных зрителей взор своих удивительных, полуприкрытых ресницами глаз. Дразнящая улыбка слегка касалась ее губ, оркестр начинал играть вступление к первой песне. Марлен продолжала спуск.

Так было на любой сцене, где бы ни выступала Дитрих, и везде — полный фурор. Гром аплодисментов, восторги критиков и уважаемых знатоков искусства, преклонение самых талантливых и заметных мужчин.

— Милый! — звонила она в Порто-Ронко. — Только что закончила концерт в Париже в «Олимпии». И я еще дала согласие на выступление в театре Пьера Кардена. Пьер встретил меня по-царски и сразу предложил продлить гастроли. Замечательный человек, великодушный и щедрый. Почему ты не приехал?

— Немного не в своей тарелке.

— Обидно. Море цветов и полный восторг! Такой нужной я чувствовала себя только на войне.

— Надеюсь, тебе выдадут медаль за заслуги в искусстве? Во всяком случае, такую пришлет тебе Равик. Твое фото в английском журнале — нечто умопомрачительное!

— Лондон обожает меня! Фото я видела, это когда на мне переливчатое платье из черного стекляруса и шуба из лебяжьего пуха? У нее почти трехметровый шлейф! И знаешь, чего я боюсь больше всего? Что кто-нибудь бросит в меня тухлое яйцо — шуба пропала!

— О чем ты, божественная! Кто посмеет?

— Но такое постоянно случается с другими.

— Ты никогда не была похожа на других.

— Почему опять этот грустный голос? Ты пишешь, Бони? Ты пользуешься миндальным мылом, что я тебе прислала?

— Я пишу на диво талантливо и благоухаю миндалем.

— А мне приходится иногда душиться мужским одеколоном с лавандой. Для полноты образа. В перерыве я переодеваюсь в один миг, меняю платье на фрак, и когда снова выхожу — с тросточкой и в цилиндре, — буря восторга!

— Я хорошо понимаю их, тех, кто завывает от восторга. Твой голос и манера петь завораживают. Я слушаю твою пластинку и трепещу всеми перышками. А вообще сижу тихо, только часто затачиваю карандаши...

«Камни переговариваются, листья откровенничают, тычинки красуются... молоденькая кошечка парит в танце над коврами, светлячки сами себе электростанция, а мухи-однодневки, завтра мертвые, любят друг друга в свете свечи на террасе, они символы в чистом виде... — кратчайшая трепещущая жизнь... Бог в деталях...

Пусть наш привет через горы долетит до тебя, унесенная от нас! Ника, варившая гуляш, куда ты подевалась? Бог в деталях...

В человеке тебе принадлежит только то, что ты в нем изменил... А это не медуза, это медаль за зрительский восторг, которую присудил тебе Равик».

## 15

Программу своих выступлений в театрах и концертных залах Дитрих продумала досконально. Она должна была держать зрителей в напряжении почти два часа и дать возможность им увидеть ее разной. Вначале кутающаяся в манто эротичная дива исполняла песни с пластинки

«Посмотрим, что выйдет у ребят из задней комнаты», «Джонни», «Ленивее девчонки не сыщешь в городке» и прочие игриво-соблазнительные шлягеры.

Потом на мгновение исчезала, чтобы сбросить манто, и снова возникала на сцене — божественно хрупкая, окутанная печалью. Теперь звучали песни с трагической темой: «Уйди от моего окна», «Когда мир был молод», «Лили Марлен», «Куда девались все цветы» — о павших на войне солдатах.

Завершали программу песни, написанные для мужчин.

«Меня часто спрашивают, почему во втором отделении я, как правило, надеваю фрак и белый галстук. Всем известно, что лучшие песни написаны для мужчин. По содержанию они значительнее и драматичнее песен, написанных для женщин. Прекрасная песня для мужчин не всегда хороша для женщин. Некоторые слова из уст женщины звучат неприлично, но забавно, когда их произносит мужчина и, конечно, женщина, исполняющая песню «О малышке», сидя под хмельком «без четверти три утра», — это не очень-то привлекательная особа».

Марлен установила рекорд — за 32 секунды она меняла наряд, преображаясь в элегантного денди. С неподражаемым очарованием андрогина, элегантно опираясь на трость, исполняла репертуар, требующий мужского начала. О необычайной эротичности Дитрих не устают говорить и светские хроникеры, и серьезные критики. И в 50 лет у нее были толпы поклонников, море денег и огромный запас сил.

В 1951 году Рудольф Зибер занял деньги у своего единственного верного друга и купил маленький ветхий домик в долине Калифорнии — жалкий кусочек земли величиной в акр, пыльный и грязный, уставленный рядами клеток с несучками. Решив заняться яичным бизнесом, Зибер поселился в своем «поместье» вместе с Тами. Дитрих негодовала: впервые мужу удалось вырваться из-под ее опеки, начать свою собственную жизнь — глупую, мелочную, с какими-то грязными несучками! Он превратил в посмешище не только себя, но и ее.

«Сборище идиотов! — жаловалась она дочери. — Зибер, видите ли, трудится, Тами вся задействована в хозяйстве! Они работают! А зачем им работать? Я зарабатываю на всех. Твой муж трудится, ты, с двумя малышами, да еще беременная, бегаешь на свое



телевидение. А зачем? Разве я мало получаю, чтобы все вы сидели и отдыхали? Сумасшедший дом!»

Гонорары Марлен огромны. Она как никогда пользуется преклонением зрителей, в нее влюбляются самые блистательные мужчины — композиторы, поэты, политические деятели. Дифирамбам нет конца, наконец-то даже требовательные критики признали: Дитрих — великая актриса! Энергия бьет ключом, за одни сутки в жизни Марлен происходит множество событий: 3–4 свидания, репетиции, интервью, примерки, перелеты, банкеты, интимные ужины, концерты и продолжающиеся съемки.

В Порто-Ронко зацветают и увядают мимозы, зреют яблоки, осенний дождь поливает озеро и лес. Ремарк живет прошлым. Ощущение финала и оторванности от несущейся мимо реки жизни преследует его.

Он пишет Марлен:

«Ангел, ящики моего письменного стола хранят множество твоих фотографий.

Человеческое сердце — колыбель и гроб. Но есть ведь и сердце на двоих! Пламя, радуга над пропастью, по которой уверенно, как все лунатики, могут перейти только влюбленные. двенадцать лет назад я сидел здесь, писал книгу, и еще много писем, и иногда ты звонила мне из Голливуда. И как это может быть, что наша жизнь проходит?»

## 16

Ремарку все тяжелее справиться с депрессией. Не спасают ни письма к Марлен, ни ее звонки. Не спасают короткие случайные связи. И тут происходит нечто, круто изменившее жизнь Эриха.

В 1951 году Ремарк в Нью-Йорке встретился с Полетт Годар.

Эту тридцативосьмилетнюю женщину нельзя было причислить к незаметным, неизвестным, неинтересным.

Шестнадцатилетняя Полетт вышла замуж за состоятельного промышленника Эдгара Джеймса. Но через год, в 1929 году, брак распался. После развода Полетт досталось 375 тысяч — деньги по тем временам огромные. Обзаведясь парижскими туалетами и дорогой машиной, она вместе с мамой двинулась на штурм Голливуда.

В 1932 году Полетт на яхте Шенка познакомилась с Чаплином.

Слава 43-летнего Чаплина была огромна. К тому времени он уже снял такие шедевры, как «Малыш», «Золотая лихорадка», только что выпустил «Огни большого города».

Чаплин знал, что Полетт имеет приличное состояние, а следовательно, не охотится за его деньгами. Можно было верить в искренность ее чувств и надеяться, что брак будет удачным. Полетт была искренне привязана к Чаплину — во всяком случае в первые годы их брака. В фильме «Новые времена» Чаплин отдал ей главную роль.

Картина, вышедшая в 1936 году, имела огромный успех. Она не сделала Полетт суперзвездой, но очаровательная, непосредственная девушка с ослепительной улыбкой теперь могла твердо рассчитывать на карьеру в Голливуде. И Полетт — пожалуй, единственная из экранных партнерш Чаплина — не упустила свой шанс. Она снимется еще лишь в одном фильме мужа, получив маленькую роль в «Великом диктаторе». Но за следующие два десятилетия Годар сыграла в кино около сорока ролей и получила заслуженную репутацию хорошей профессиональной актрисы.

Годар и Чаплин расстались достойно, без скандалов и взаимных разоблачений. В последний раз они виделись в 1971 году на церемонии вручения «Оскара». 82-летнего Чаплина наградили почетным (единственным в его жизни!) «Оскаром». Полетт поцеловала его, назвав своим «дорогим бэби», и он ласково обнял ее в ответ.

Она много снималась. С 1944 по 1949 год была замужем за популярным и уважаемым актером Берджесом Мередитом (известным многим по исполнению роли тренера в фильме Сталлоне «Рокки»).

После развода с Мередитом кинокарьеря Полетт стала клониться к закату. Крупные студии больше не предлагали ей по сто тысяч долларов за фильм. Но без работы она не сидела. Понемногу снималась для души, а бедность ей не грозила. В лучших районах Лос-Анджелеса Полетт принадлежали четыре дома и антикварный магазин. Репутация у нее по-прежнему была блестящая, среди друзей Годар были Джон Стейнбек, Сальвадор Дали. Суперзвезда Кларк Гейбл, завоевавший огромную популярность исполнением роли Ретта в «Унесенных ветром», предлагал ей руку и сердце. Но Полетт предпочла Ремарка.

Так же, как было с Чаплином, Полетт, которая, по словам Ремарка, «излучала жизнь», спасла его от депрессии. Благодаря ей он закончил «Искру жизни». Роман, где Ремарк впервые поставил знак равенства между фашизмом и коммунизмом, имел успех. Вскоре он начал работу над романом «Время жить и время умирать».

«Все нормально, — пишет Эрих в дневнике. — Нет неврастении. Нет чувства вины. Полетт хорошо на меня действует».

В 1952 году Ремарк вместе с Полетт решился наконец посетить Германию, где не был тридцать лет. Теперь там издаются его книги, будет сниматься фильм. В Оснабрюке Эрих встретился с отцом, сестрой Эрной и ее семьей. Город был разрушен и перестроен. В Берлине еще сохранялись военные руины. Ремарк не узнавал Германию, испытывая ощущения дурного сна. Люди казались ему похожими на зомби. Он писал в дневнике про их «изнасилованные души».

В романе «Черный обелиск» в довоенной Германии герой влюбляется в пациентку психиатрической лечебницы, страдающую раздвоением личности. Это было прощанием Ремарка с Юттой, Марлен и с родиной. Роман кончается фразой: «Ночь спустилась над Германией, я покинул ее, а когда вернулся, она лежала в развалинах».

## 17

Ремарк и Дитрих снова соединил Париж. Марлен заказывает новые наряды у Диора, Ремарк составляет договора с издательствами на публикацию своих романов. Конечно, обед в ресторане, первое разглядывание друг друга. Марлен находит Ремарка вполне бодрым, а он ее... Что-то изменилось в оптике его взгляда, что-то очень существенное... Боясь, что глаза выдадут его, Эрих с преувеличенным вниманием погрузился в изучение карты вин.

— Слышала о твоём разрыве с Наташей Полей, — начала Марлен. — Наконец-то ты избавился от этой неврастенички. Ведь ясно же, что работать Бони может лишь со спокойной душой. Я хочу попросить тебя о небольшом одолжении. Мне нужен текст немецкой баллады для выступлений.

— Милая, я непременно пришлю тебе текст. Но... видишь ли... Не хочу темнить... Мы давно не общались... Дело не в Наташе, дело в Полетт... Полетт Годар. — Ремарк наполнил бокалы вином, принесенным официантом.

— Эта-то шлюха при чем здесь? Извини, о ней столько всегда говорят.

— Если верить всем сплетням о тебе...

— Похоже, сегодня мы будем воевать. — Марлен отодвинула бокал с вином и постучала по столу черенком ножа. — Учти, я сильная.

— Знаю, воительница. Поэтому первой тебе и сообщаю: я думаю соединить свою жизнь с Полетт. Это веселая, ясная, непосредственная женщина. Прямая противоположность мне, глоток свежего воздуха. Я снова пишу и смотрю в ясное небо без тоски об утраченных звездах.

Лоб Марлен нахмурился.

— Чистое безумие! Разве не понимаешь, что ей нужны твои картины?

— Она же очень богатая женщина, ей нужен я. — Губы Эриха сжались.

— Ха! Ты нужен всем.

Эрих отпил вино, глубоко вздохнул и посмотрел в глаза Марлен.

— Ты можешь меня спасти от неверного, как полагаешь, шага. Выходи за меня.

— Опять! — Марлен рассмеялась. — Я думала, ты всерьез о Полетт. Оказывается, она понадобилась, чтобы спровоцировать меня на спасение писательской души...

— Зибер больше не работает прикрытием. Что тебя удерживает, Марлен? Мы уже прошли через все и достойны толики покоя. Покоя вдвоем.

— Ты чего-то не понимаешь, любовь моя. — Марлен нервно закурила. — У меня работа. Кажется, никогда еще меня так не увлекала профессия.

— Это означает, что ты одобряешь мой брак с Годар.

— Одобряю?! Да ты хоть подумай, зачем она прилипла к тебе!

— Полагаю, это серьезное увлечение. Если избегать высоких слов.

— Каких еще слов? Жадность! Фантастическая жадность! Погоди, Бони, не отворачивайся. Послушай меня, я ее знаю. Немного, но этого достаточно. — Марлен погасила сигарету, бросила быстрый взгляд в зеркальце, подправила помаду.

— Прошу тебя, не будем портить ланч. Поговорим о твоих выступлениях.

— Ну, нет! Ты должен это знать, раз уж надумал жениться. Слушай, слушай, прелестная история! Однажды мы оказались с Полетт в одном поезде. Я думаю, она в то время еще была женой Чаплина, а может, и не была. В общем, она пришла ко мне в купе, и мы долго разговаривали. Вдруг она встала, ушла, потом вернулась, таща огромный ларец с драгоценностями — настоящий сундук. Этакий чемоданище из крокодиловой кожи был полным полнехонек — одни бриллианты! Здоровые, как булыжники! И она вздумала читать мне лекцию: Марлен, вы должны иметь бриллианты. Цветные камни не стоят ни гроша. Вас хочет мужчина? Прекрасно. Вы сразу же говорите «нет». Наутро он присылает вам розы на длинных стеблях, вы отправляете их обратно. На следующий день приносит орхидеи, но их вы тоже отправляете назад. Следуют маленькие подношения: духи, сумочки, норковые манто — все это и подобное вы немедленно отправляете. Рубиновые и алмазные брошки — назад! Даже изумруды и бриллиантовые булавки. Когда появляется первый браслет с бриллиантами, обычно маленькими, вы тоже велите отнести его дарителю, но звоните и говорите «спасибо», причем довольно любезно. На завтра приносят браслет с бриллиантами покрупнее; вы его тоже не берете, но зато позволяете ему пригласить вас на ланч. Но только на ланч, ничего другого. Первое кольцо с бриллиантом никогда не бывает особенно ценным. Верните его, но согласитесь пообедать, потом даже можно поехать потанцевать. Одну вещь, которую я вам скажу, вы должны запомнить на всю жизнь: никогда, ни за что не спите с мужчиной, пока не получите от него бриллиант чистой воды, по меньшей мере, в десять карат! — Марлен загасила сигарету. — Какова штучка?

— Это все? — Откинувшись на спинку стула, Эрих смотрел, как тают в воздухе пущенные им кольца сигаретного дыма. — Ты всегда увлекательно сочиняла. Только сейчас твои байки неуместны. — Он подозвал официанта и оплатил счет. — Извини, меня ждут.

— Погоди, она еще себя покажет! И, конечно же, постарается рассорить нас. Боится, как бы ты чего-то не оставил мне... А как только женишься, она тут же постарается отправить тебя на тот свет. Вот увидишь! Ты великий писатель, но во всем, что касается жизни, остался полным идиотом!

Последние фразы Марлен договаривала своему бокалу. Эрих ушел, нервишки совсем ни к черту. Очередная перепалка, а сколько их было! Все постепенно утрясется. Надо немедленно решить что-то с жемчужным платьем. Кристиан иногда не понимает, что сцена — не светский раут, она не терпит мелочей. Никаких брошек, коле, сережек, пуговичек. — Марлен подняла глаза к потолку. Там радужно сиял каскад хрустальной люстры. — Подвески из хрусталя! Вот что мне нужно.

В дневнике Ремарк запишет об этом вечере:

«Только сейчас избавился от наваждения по имени Марлен Дитрих.

Прекрасной легенды больше нет. Все кончено. Старая, потерянная. Какие ужасные слова».

Эта запись Ремарк свидетельствует о том, как изменилась «оптика» его взгляда, уже подчиненная очарованию Полетт. Да, она на 12 лет моложе Марлен, и они переживают весеннюю пору расцвета любви. Но Дитрих отнюдь не потерянная и не старая — и в 53 года она все еще в расцвете сил и женской привлекательности.

## 18

Роман «Время жить и время умирать» Ремарк посвятил Полетт. Кажется, он и впрямь был с ней счастлив, но от прежних комплексов до конца избавиться не мог. Писал в дневнике, что подавляет свои чувства к Полетт, запрещает себе ощущать счастье, словно это преступление. Что пьет, потому что не может трезвым общаться с людьми, даже с самим собой.

В 1957 году Ремарк официально развелся с Юттой, выплатив ей 25 тысяч долларов и назначив пожизненное содержание в 800 долларов в месяц. Ютта уехала в Монте-Карло, где и прожила восемнадцать лет до самой своей кончины. В следующем году Ремарк и Полетт поженились в Америке.

Голливуд по-прежнему был верен Ремарку. «Время жить и время умирать» экранизировали, и Ремарк даже согласился сам сыграть профессора Польшмана, еврея, погибающего от рук нацистов.

В следующей книге «У неба нет любимчиков» писатель вернулся к тематике своей молодости, описывая любовь автогонщика и прекрасной женщины, умирающей от туберкулеза. В Германии к книге отнеслись как к легковесной романтической безделушке. Но американцы экранизируют и ее, правда, спустя почти 20 лет. Роман лег в основу фильма «Бобби Дирфилд» с Аль Пачино в главной роли.

Марлен продолжает покорять планету. Она беспрестанно гастролирует, и каждый ее публичный выход вводит общественность в состояние транса. Те, кто восхищался ее кинообразами, теперь признавали, что самым изысканным инструментом обольщения Марлен является голос. Небольшой, но прекрасно модулированный, он был способен передавать тончайшие нюансы страсти.

«Ее песни полны целительной силы. Когда слушаешь ее голос, становится ясно, что в каком бы аду вы ни находились, она побывала там раньше и выжила, — пишет влиятельный критик Кеннет Тайнен. — Она безжалостно избавилась от всякой сентиментальности, от желания большинства актрис быстро понравиться публике, от всех дешевых приемчиков, призванных «собрать душу». Остаются лишь сталь и шелк, сверкающие вечно.

Гордая, властная, заинтересованная, ускользящая, ироничная — вот что лучше всего характеризует ее.

На сцене во время своих выступлений она будто сама удивлена, как здесь оказалась, стоит словно статуя, с которой каждый вечер сбрасывают покрывало».

Кроме выступлений Марлен успевает сниматься. В фильме «Свидетель обвинения» она, по существу, играет четыре разнохарактерные роли. А образ фрау Бертольд — жены нацистского преступника в «Нюрнбергском процессе» — запомнился своей глубиной и правдивостью.

Жан Кокто — известный французский теоретик и критик театра — многолетний поклонник Марлен. Впрочем, бескорыстный, поскольку полностью увлечен живущим с ним молодым актером Жаном Маре. К выступлению Дитрих в МонтеКарло Кокто написал восторженную оду, но сам прибыть не смог. Послание доставил и прочел зрителям красавец Жан Маре. Марлен была довольна и чтецом, и словами Кокто.

«...Секрет твоей красоты заключен в добрых глубинах твоего сердца. Эта сердечная теплота выделяет тебя больше, чем элегантность, вкус, стиль, больше, чем твоя слава, твое мужество, твоя стойкость, твои фильмы, твои песни. Твоя красота не нуждается в восхвалении, она сама поет о себе. От блеска «Голубого ангела» до смокинга «Марокко», от неказистого черного платья «Обещанной» до пышных перьев «Шанхайского экспресса», от бриллиантов «Желания» до американской военной формы, от порта к порту, от рифа к рифу, от мола к молу носится на всех парусах фрегат Жар-Птица, легендарное чудо — Марлен Дитрих!»

В 1960 году Марлен впервые приехала в Германию, в которой не была после войны. Реакция на ее выступление в Берлине была смешанной: многие по-прежнему считали ее предательницей. Она с горечью признавалась: «Немцы и я больше не говорим на одном языке». До самой смерти она отказывалась от новых поездок в Германию. Во время выступлений в Висбадене (ФРГ) с Дитрих произошел несчастный случай — она упала через рампу и сломала ключицу. Однако тем же вечером обедала с друзьями в ресторане, а после продолжила турне, отказавшись гипсовать руку, — она просто крепко прибинтовывала ее к телу.

Рука срослась, но сигнал свыше прозвучал. Похоже, провидение уже не очень стремится опекать Марлен, пренебрегающую всеми правилами самосохранения. И в 50, и в 60 лет она не хочет слышать ничего о своем возрасте, отвергает докторов, предпочитая стихийное самолечение — пачками глотает вошедший в моду кортизон, поскольку считает, что он способствует укреплению голосовых связок, с наивной безответственностью пьет разные транквилизаторы, доверяет себя шарлатанам, «открывшим новые методы», и подкрепляет силы спиртным. Вначале достаточно маленькой флажки в сумочке, чтобы провести концерт на подъеме и избежать спазмов икроножных мышц. Потом доза возрастает. Марлен зачастую появляется на сцене выпивши, и только ее удивительное самообладание и поддержка дочери помогают избежать катастрофы.

## 19

Она злится на всех, кто напоминает ей о возрасте, необходимости отдохнуть, заняться здоровьем. Но наступает не только старость, подступает время потерь.

Открыл список уходящих друзей Хемингуэй, покончив жизнь самоубийством летом 1961-го.

Узнав об этом, Марлен надела широкое черное платье, достала пачку писем из сейфа и заперлась у себя в комнате. Она перечитывала его послания, выискивая хоть туманный намек на причину трагедии. Втайне от других Марлен обвиняла в случившемся жену Хемингуэя, твердя с отчаянным упорством: «Если бы рядом с ним была я, он бы этого никогда не сделал!»

В 1962 году Марлен просит Ремарка переписать закадровый текст, который она произносит в фильме о Гитлере «Черный лис».

«Я выступаю там в роли рассказчицы. И это очень здорово — разоблачать нацистов. Но текст должен быть живой. Только ты сможешь это сделать. Я буду в фильме говорить твоими словами, но и в жизни я, так или иначе, говорю твоими словами. Я скучаю по тебе каждую секунду — на веки вечные. Твоя пума».

За фильм «Черный лис» Марлен была награждена престижной премией ФРГ.

В 1962 году Ремарк, снова посетив Германию, вопреки своему обыкновению дал интервью на политические темы журналу «Ди вельт». Он резко осудил нацизм, напомнил про убийство своей сестры Элфриды и про то, как у него отняли гражданство. Подтвердил свою неизменную пацифистскую позицию и выступил против только что сооруженной Берлинской стены.

На будущий год Полетт снималась в Риме — играла мать героини Клавдии Кардинале в фильме по роману Моравиа «Равнодушные». В это время у Ремарка, жившего в Порто-Ронко, случился инсульт. Но он выкарабкался и вскоре даже смог принять делегацию из Оснабрюка, приехавшую в Аскону вручать ему почетную медаль. Отнесся он к знаку признательности без восторга, записал в дневнике, что с этими людьми ему было не о чем говорить, что он устал, скучал, хотя и был тронут.

В октябре 1964-го ушли из жизни два французских друга Дитрих. Одному она была любовником, другому — приятелем на протяжении всей своей сознательной жизни.

Марлен оплакивала Пиаф с глубокой скорбью.

«Воробушек» лежал в гробу с тем самым золотым крестиком на шее, который она подарила в день свадьбы.

Текст умершего Кокто Марлен вставила в рамку и вместе с его портретом повесила на «стене почета» возле Хемингуэя.

Вскоре состоялась премьера Дитрих в Королевском театре в Лондоне. Переполненная драматическими переживаниями, Марлен пела великолепно. Подобно ослепительно сверкающему бриллианту, она стояла перед алым бархатным занавесом в хрустальном платье, и каждый звук ее голоса проникал в сердца зрителей. Лондон лежал у ее ног. Как и Москва, и Ленинград, в которых Марлен побывала в 1964 году. «В душе я русская», — любила повторять она.

Скандинавские страны, Англия, Франция, Япония, Италия, Испания, Мексика, Австралия, Гавайи, Южная Америка, Голландия, Бельгия, ФРГ, Израиль, СССР — вот неполный перечень покоренных Марлен территорий, подтверждение не только могущества легендарной Дитрих, но и личного мужества этой хрупкой и далеко не юной женщины.

В 1965-м у Марлен обнаружили раковую опухоль. Врачи настаивали на срочной операции, но она решительно отказалась, не зная о диагнозе. Марлен до конца жизни считала врачей шарлатанами и отказывалась верить в то, что ее может настичь серьезная болезнь. Она так привыкла быть исключительной. И в самом деле — после простейшей радиотерапии рак отступил к удивлению врачей и больше никогда не возвращался. Марлен так и не узнала, на краю какой пропасти подхватил ее ангел-хранитель.

## 20

Ремарк предпочитает оставаться в Швейцарии, в то время как Полетт разъезжает по свету, обмениваясь с ним романтическими письмами. Ремарк подписывал свои послания «Твой вечный трубадур, муж и поклонник». Некоторым друзьям казалось, что в их отношениях было что-то искусственное, наигранное. Если в гостях Ремарк начинал пить, Полетт демонстративно уезжала. К тому же она ненавидела, когда он говорил по-немецки, и не хотела жить в Порто-Ронко, где ее недолюбливали за экстравагантную манеру одеваться и считали высокомерной. Похоже, и этот брак не соответствовал идеалу «вечного союза», воспетого Эрихом в письмах к Марлен. И все яснее становится, что духовное и телесное единение с любимой — утопия, особенно для натуры Ремарка, не умеющего приспособливаться и довольствоваться имеющимся.

После «Ночи в Лиссабоне» Ремарк написал «Тени в раю». Он много работает, но здоровье его ухудшается. В том же 1967 году, когда немецкий посол в Швейцарии вручил ему орден ФРГ, у Ремарка было два сердечных приступа. Немецкое гражданство ему так и не возвратили. Зато на следующий год, когда Ремарку исполнилось 70 лет, Аскона сделала его своим почетным гражданином. Писать свою биографию он не разрешил даже бывшему другу юности из Оснабрюка.

В это же время Марлен ринулась на завоевание Бродвея. Ее концерт вызвал небывалый ажиотаж. Нью-йоркская полиция на испуганных лошадях пыталась усмирить бушующую толпу, запрудившую всю Сорок шестую улицу. Задрав подол юбки от Шанель, шестидесятилетняя Марлен балансировала на крышах автомобилей, швыряя в орущую

толпу, словно конфетти, свои фото с автографом. Вскоре за концертные выступления ей вручили престижную премию «Тони».

На сцене она все еще была прекрасна: мерцающие глаза, удивительное тело, жемчужно-розовая кожа, золотые волосы (теперь уже — парики), гвардейская осанка, гипнотический взгляд из-под полуопущенных ресниц.

На концерт Дитрих приехал фон Штернберг. Они сидели в тихом ресторанчике — еще взвинченная успехом Марлен и похудевший и, кажется, еще уменьшившийся ростом Штернберг. Его поседевшие усы все так же печально свисали от уголков губ, а глаза смотрели с прощальной тоской.

— Поздравляю! Ты и в самом деле невероятна, любовь моя. Я это знал и тогда, в самом начале.

— Когда я была похожа на пробах на волосатую картофелину?

— Это твои собственные слова! Уж больно ты не хотела работать со мной.

— Боялась за тебя — а вдруг подведу? Боялась «Голубого ангела», которым мне предстояло, по существу, стать. Всю жизнь играла шлюх. Где великие роли — Каренина, Дама с камелиями? Где мои «Оскары» и главы в истории кино?

— Ты обошлась без банального набора кинозаслуг.

— Думаешь, я жалею о чем-то? Давно уже не сомневаюсь — Марлен Дитрих вне общепринятых пошлостей «обласкивания» звездочек. — Марлен окинула взглядом принесенные официантом блюда и кивком велела наполнить коньяком бокалы. — Последнее время я люблю поесть ночью. При этом совершенно не полнею. Немного позволяю себе выпить. Заметил, под коньячок идет почти все. Даже маринованные огурчики. А насчет лимона — выдумки знатоков вроде Бони.

— Как он? Слышал, его сделали почетным гражданином Асконы.

— Мы почти не общаемся. Эта сучка Полетт не позволяет ему видаться со мной. За нас! — Марлен выпила и с аппетитом отправила в рот сочный кусок ростбифа. — Сидит в своей дыре с экономкой и питается черт знает чем. Так он долго не протянет. Ты что, совсем не пьешь?

— Диета! Будь добра, не смейся. Какой-то там... холецистит. Камушки в желчном пузыре так и гремят.

— Это из-за твоего упрямства. Желчь и камни — от упрямства и обидчивости. А больше всего — от ревности. Никогда не знала, что это такое — вот и обхожусь без диет. Ничего, что я жую одна?

— На тебя приятно смотреть. Зря я мучил тебя английской солью.

— Вовсе не зря! Результат заметен. — Она задрала юбку, продемонстрировав стройные ноги. — Ничуть не изменились. Как в тридцатом году, когда ты увез меня в Америку, дабы перешеголять Грету Гарбо. Кстати, где эта бедняга? О ней ничего не слышно уже лет тридцать.

— Она не снимается с 1942-го после неудачи фильма «Женщина с двумя лицами». Спряталась в своей норе, ни с кем не общается, не дает интервью — ушла от мира! — Фон Штернберг маленькими глотками пил минеральную воду и смотрел на Марлен, словно стараясь насытить взгляд.

— Ничего себе «нора»! Говорят, ее квартира в Нью-Йорке обвешана дорожными картинками, как музей. И капитал собрался немалый. Еще бы! Ни детей, ни внуков, ни мужа. И чего удивительного — с таким характером даже на ее миллионы никто не клюнул. Она же вообще не знала, что такое любовь. Ну, хоть малюсенькая увлеченность! Бревно. И эта идиотка еще думала конкурировать со мной!

— Это совершенно невозможно. Знаешь, какую твою роль можно назвать лучшей? Роль идеальной возлюбленной. Не на экране — в жизни.

— Ты ведь понимаешь, Джозеф, что это самая сложная роль. Ценю твою иронию, но уж извини... За исключением Габена, все мои мужчины были счастливы со мной. И ты, Джо,

что бы ни говорил, — был счастлив. Да и сейчас... Вот сидишь и смотришь на меня. Я же знаю, как ты смотришь. Явно без отвращения.

— Ты неувыдаема, Марлен, в тебе клокочет жизнь. Ты — уникам. А я потихоньку сдаю. В кино я так и не сделал ничего выдающегося. Кроме тебя. И знаешь — это совсем немало!

— Это грандиозно, Джо! — Она сжала в ладонях его руку. — Все, что я писала тебе тогда, — правда. Я преклоняюсь перед тобой и буду благодарна вечно.

— Растрогала старика! — Джозеф утер навернувшиеся слезы. — Семьдесят четыре года — это уже не мальчик.

— Посмотрим, что ты скажешь через десять лет! — Марлен протянула к Джозефу руки. Он поднялся и подошел к ней. — Не вставай, пожалуйста. Наконец-то я смогу посмотреть на тебя сверху вниз!

Это была их последняя встреча. Фон Штернберг умер в декабре 1969-го в Голливуде. Марлен не поехала на его похороны, опасаясь вызвать излишнее внимание папарацци. Но после церемонии появилась у него дома, дабы поддержать вдову. Плачущая, с охапкой роз, закутанная в пелерину из меха шиншиллы, который прежде считала одеждой старух, Марлен была великолепна. «Если Джо видит меня сейчас, он останется доволен», — решила богиня, следя за своим отражением в прикрытом черной вуалью зеркале.

## 21

— Милый! — врывается она телефонным звонком в тихую жизнь Ремарка. — Я знаю, что ты сидишь там один среди мимоз и своих картин. Твоя птичка Полетт все порхает по разным странам. Лучше бы сидела дома и готовила мужу хорошие обеды.

— Я думал, ты хотела сообщить мне, что американцы высадились на Луне.

— У меня проблемы поважнее. Принимаю великого ученого Александра Флеминга. Это он изобрел пенициллин! Устраиваю скромный домашний, но изысканный обед. Посоветуй, какие выбрать вина. Только ты можешь это решить.

— Всегда рад помочь. Какое меню?

— Да! Умер Папа Джо, помнишь Антиб? Он уже и тогда был староват, но ужасно мил. Буквально не давал мне проходу. А ты страшно ревновал. Вот уж что мне совершенно непонятно, так это ревность! Никогда никого не ревновала и не собираюсь этому учиться. После того как мы определим вина, не забудь, что я передаю пламенный привет Полетт. Обязательно скажи ей, когда позвонит.

— Как ты, фата-моргана?

— Увидимся, расскажу.

Увидеться им больше было не суждено.

Две последние зимы своей жизни Ремарк провел с Полетт в Риме. Летом 1970 года у него опять отказало сердце, его положили в больницу Локарно.

Марлен телеграфирует в клинику «Сант-Аньес»: «Любимый Альфред, посылаю тебе все мое сердце».

25 сентября инфаркт все же настиг Эриха. Его скромно похоронили в Швейцарии. Марлен прислала розы. Полетт не положила их на гроб.

Марлен пишет письмо друзьям:

«...Я давно знала о его болезни и разговаривала с ним по телефону ежедневно, посылала ему цветы и телеграммы. Но все это должно было попасть к нему утром потому, что после полудня приходила эта сука Годар и все контролировала. Мария писала ему, я попросила Руди послать телеграмму, и он получил ее в те последние несколько дней, когда был в сознании перед своей кончиной.

У него было несколько ударов, но он выкарабкался. Все равно, жизнь без того, что он любил, была для него уже не в жизнь. Все лучшее из нее ушло. Он любил выпить, пил много, но не для того, чтобы опьянеть, а для вкуса. Теперь у



этой проститутки Годар все его богатство — Ван Гог, Сезанн, Модильяни. И еще фантастические ковры, всему этому нет цены. Может быть, из-за всего этого она никогда и не позволяла ему со мной видаться? Чтобы он не отдал мне часть своих сокровищ? Это не могла быть ревность. Откуда взялась ревности, если она ни на минуту его не любила? Если так случится, что я переживу Габена, будет то же самое. Я могла все это иметь: деньги, имя. Но я сказала «нет». Я не могла так поступить с Руди».

Позже Марлен жаловалась драматургу Ноэлю Каураду, что Ремарк оставил ей всего один бриллиант, а все деньги — «этой женщине». На самом деле он также завещал по 50 тысяч своей сестре Ютте и экономке, долгие годы опекавшей его в Асконе.

«Лучше умереть, когда хочется жить, чем дожить до того, что захочется умереть», — писал Ремарк в пору бессилия. Кто знает, удалось ли ему это.

Первые пять лет после смерти мужа Полетт усердно занималась его делами, публикациями, постановкой пьес. В 1975 году она тяжело заболела. Опухоль в груди прооперировали слишком радикально, удалив несколько ребер. Она прожила еще 15 лет, но это были печальные годы. Полетт впала в депрессию, начала пить, принимать слишком много лекарств. Пожертвовала два миллиона долларов Нью-Йоркскому университету, но постоянно боялась нищеты. Принялась распродавать собранную Ремарком коллекцию импрессионистов. Пыталась покончить с собой. После того как умерла ее 94-летняя мать, Полетт окружали только слуги, секретарша и врач. Она страдала эмфиземой. От красоты не осталось и следа — кожа лица была поражена меланомой.

23 апреля 1990 года Полетт потребовала дать ей в постель каталог аукциона «Сотби», где должны были в этот день продаваться ее драгоценности. Продажа принесла миллион долларов. Через три часа Полетт скончалась с каталогом в руках. Ей было 72 года. Письма Ремарку от Марлен она предусмотрительно уничтожила еще в первые годы замужества.

## 22

Марлен долго оплакивала потерю Бони-Равика. В черном платье, с горящими свечами и пачкой его писем, одна в затемненной комнате, она провела свою собственную «вдовью» церемонию прощания. Фотография почившего Ремарка заняла почетное место на стене ее комнаты.

Состоявшийся 17 мая 1973 года юбилей золотой свадьбы Марлен и Зибера даже не свел супругов вместе. Он сворачивал шеи цыплятам на своей ферме, она обедала в Париже с очередным поклонником. Семидесятидвухлетняя дива не хотела сдаваться. Фрэнк Синатра, композитор Арлен Гарольд и многие другие выдающиеся мужчины все еще у ее ног. Но силы уже не те. И диагноз медиков устрашающий: сужение бедренных артерий, нарушенное кровоснабжение ног, что делает смертельно опасной малейшую травму.

7 ноября 1973-го в театре на окраине Вашингтона, заканчивая третий раз петь на бис, Марлен, оступившись, упала в оркестровую яму. Но шоу продолжалось! С открытой раной под мокрыми от крови бинтами Марлен продолжала выходить на сцену в своем лебяжьем манто, склоняясь в низком поклоне зрителям. На этот раз она пролежала три недели в госпитале у знаменитого доктора Дебейки после сложной операции шунтирования и заживления огромной раны. Едва выбравшись из больничной палаты, несмотря на постоянные боли в ногах, Марлен отправляется в новое турне, где ее ждут бешеный успех и растущая доза алкоголя. Она уже не может существовать без допингов, но доза алкоголя, смешанного с транквилизаторами, все увеличивается. Она не хочет понять, что со скоростью курьерского поезда мчится к катастрофе. В 1975 году гастроли в Австралии оказываются на грани срыва, Марлен отказывается прервать выступления, пытается поднять тонус спиртным и таблетками. Накачавшись лекарствами и коньяком, она поет в Сиднее.

В «Дейли телеграф» появляется убийственная рецензия:

«Маленькая старая леди отважно пытается играть роль бывшей королевы кино по имени Марлен Дитрих, ковыляет по сцене Театра Ее Величества. Сказав «отважно», я несколько не преувеличил. Ее концерт, вне всяких сомнений, — самое смелое, самое печальное, самое горькое зрелище, которое я когда-либо видел...

Концерт заканчивается; поклонники бешено аплодируют. В воздух взмывают и летят на сцену обязательные розы, предусмотрительно сложенные перед рампой.

Теперь вы понимаете, почему эта маленькая старая леди продолжает петь. Вовсе не из-за денег. Ради денег она бы не стала затрачивать такие усилия.

Держась, чтобы не упасть, за красный занавес, она отдает поклон за поклоном. Она все еще кланяется, все еще машет рукой, все еще упивается этой волнующей атмосферой, а мы уже покидаем зал...»

Через пять дней после этой, сразившей ее рецензии Дитрих упала, споткнувшись о кабель. Перелом бедра оказался серьезным. Несколько месяцев с вбитыми в кости спицами она пролежала на вытяжении. Ходить после этого стало совсем трудно. Но сильнее физической боли мучила уничижительная правда жестокой статьи. С трудом Марлен приняла печальную истину — момент настал, зритель предал ее. Больше на сцену она не выходила. Трехкомнатная квартира на улице Монтень стала ее убежищем.

Когда в июне 1976-го умер Рудольф Зибер, «мистер Дитрих», Марлен осталась в Париже, боясь встречи с репортерами. Мария похоронила отца, так, как считала, хотел бы он. Муж всемирно известной легендарной женщины покоится под тенистым деревом. На его могиле лежит простая плита из флорентийского мрамора с надписью: РУДИ 1897–1976. Неподалеку находится могила Тами.

В этом же году ушел из жизни Габен. Дитрих оплакивала его до конца своей жизни. Она никак не могла осознать, что ее тайная заветная мечта не осуществится — Жан никогда уже не вернется к ней.

## 23

Последнее появление Дитрих на экране произошло четыре года спустя в фильме «Просто жиголо». За два дня съемок она получила 250 тысяч долларов. Но вскоре и эти деньги ушли. Невероятно, но одна из самых высокооплачиваемых звезд мира заканчивала свою жизнь в стесненных финансовых обстоятельствах, в квартире, оплачиваемой муниципалитетом Парижа.

Марлен всегда испытывала отвращение к любого рода капиталовложениям. Ее экстравагантность не считалась с затратами, ее вера в то, что она никогда не будет нуждаться в деньгах, была неколебима. Она умела быть безумно расточительной, удовлетворяя все свои желания, умела быть и щедрой, оплачивая счета прислуге и членам семей работавших на нее людей, делая бесконечные подарки окружающим. Марлен не грозила бедность, пока за ее финансовыми делами следил Зибер, богатые покровители были готовы бросить к ее ногам состояние, и она сама могла заработать на безбедную жизнь.

Все рухнуло разом — ушла молодость, могущественные поклонники, способные обеспечить любимой роскошное существование, не стало Руди, да и от легендарных ног остались воспоминания. Почти все картины импрессионистов, приобретенные Марлен, оказались подделками, драгоценности странным образом испарились (Мария так и не выяснила, в какой момент и куда ушли от Марлен завещанные дочери бриллианты и изумруды). А старость и болезни требовали затрат, особенно для привередливой Марлен, закупающей горы каких-то «целительных» препаратов, капризно менявшей прислугу, награждающей немислимыми «чаевыми» любого, кто готов услужить ей. Чтобы заработать, она дает многочисленные интервью по телефону, с ходу сочиняя историю на любую предложенную тему «из своей жизни».

В 1974 году Максимилиан Шелл собрался снять документальный фильм о Марлен. Она должна была озвучивать за кадром документальный сюжет. Но Шелл не хотел экранизировать прилизанную сказочку, а Марлен не собиралась раскрывать свои тайны. Они не сошлись. В итоге фильм Шелла вышел с закадровым комментарием актрисы, изображавшей Марлен. Это вывело Дитрих из себя и навсегда отвратило от попыток «связываться с киношниками».

Решив раз и навсегда, что ее образ должен остаться в истории неувядаемым, Марлен прекратила все контакты даже с близкими друзьями. Они слышали в телефонной трубке бодрый голос Дитрих, сообщавший, что она как раз улетает в Америку, а из Америки — в Лондон или Рим. Многие попадали на «голос горничной», которую Марлен наивно изображала. Горничная докладывала, что мисс Дитрих только что уехала на примерку или ужин в ресторане. В конце концов ее оставили в покое, и Дитрих оказалась одна. Семидесятипятилетняя Марлен вычеркнула себя из списка живущих. Ведь для нее был приемлем лишь один способ существования — царственное сияние в поклонении и любви. Одна роль — блистательной и неповторимой Королевы мира.

Уединившись, она с немецкой педантичностью создала свой замкнутый мир, в котором благополучно коротала год за годом. Главным ее «логовом» являлась кровать, с которой Марлен почти не поднималась. По левую руку от нее, на левом фланге широкой кровати, находился «офис» — конверты, почтовая бумага, веревки, клейкая лента, марки, книги, календари, телефон, лупы для чтения стопки газет, эластичные бинты, фото поклонников, полотенца, губки и даже пистолет. Пластмассовый, но способный произвести много шума. Под кроватью хранился запас бутылок «минеральной воды», заполненных спиртным. Под рукой лежали «хваталки» с длинными ручками, позволявшие ей дотягиваться до нужного предмета. Справа у кровати располагался низкий длинный стол, на котором стояла электроплитка, еще один телефон, посуда, термосы, кастрюли, сковородки, дабы она могла самостоятельно стряпать.

Но еду приносила дочь, а Марлен, не вставая с постели, писала свою автобиографию. Третья, наконец одобренная версия, вышла в 1987 году и сразу была переведена на несколько языков. Марлен получила гонорар, и штабеля лекарств, до потолка громоздящиеся в спальне, были пополнены новыми препаратами, выисканными Дитрих в медицинских журналах, которые она выписывала и внимательно читала, надеясь отыскать эликсир бессмертия.

Сочиня розовую сказку своей автобиографии, Марлен не поняла, что ее жизнь куда ярче, смелее причесанного и благопристойного вымысла. Она — феномен, чудо, редкость. Вещество с уникальным составом, не менее удивительным от того, убивает оно или дает жизнь. Об этом напишет в своей книге Мария, стремясь провести разграничительную черту между подлинной Марлен и окружавшей ее образ легендой. Она попытается понять, почему мечтавшая всю детскую жизнь о родительском тепле, так и не смогла полюбить свою мать — королеву.

Но Марлен неуловима. Ей трудно вынести приговор. Она столь легко формирует события, смешивая фантазию, ложь, выдавая желаемое за случившееся. Ей так виртуозно удается присваивать чужие мысли и скрывать свои. В ее «сценариях» действительность так тесно переплеталась с самым затейливым вымыслом, что она сама начинала верить в собственные фантазии. И совершенно не терпела иных точек зрения.

Ни сиделок, ни помощниц Дитрих не выносила. Никому, кроме дочери, она не хотела показывать свою немощь, алкогольную зависимость, да и ее характер могли вынести не многие.

Со временем мышцы атрофировались, и Марлен вовсе перестала покидать постель. Но на ее теле не было пролежней даже после нескольких лет лежания, хотя у прочих больных они появляются уже через пару недель.

Нет, Марлен отнюдь не грустила и не боялась.

«Бояться надо жизни, а не смерти», — говорила она. А от депрессий спасал алкоголь и куча лекарств с добавкой наркотиков. Прорва препаратов, которую Марлен глотала без разбора, давно бы убила другого, у Дитрих же не пострадала даже печень, и банальная язва желудка не отравляла ее дни.

Она дремала, уткнувшись в подушку с портретом какого-нибудь юного актера, к которому воспылила влюбленностью. К ней все еще приходили кипы писем поклонников, некоторые звонили, втягивая старушку в кокетливый телефонный флирт. Одним из последних кумиров Марлен стал Михаил Барышников. Они понравились друг другу в телефонных беседах, но нанести к ней визит Марлен Барышникову не позволила. Она много читает на трех языках, а в хорошем расположении духа, обеспеченного дозой алкоголя, любит поболтать с дочерью. Десятки раз продумывает и обсуждает сценарий своих похорон, который подготовила уже двадцать лет назад.

«...Пока меня везут по улицам мимо скорбных толп, в церковь начинают прибывать приглашенные. Руди стоит в специально сшитом у Кнайзе темном костюме, наблюдая за входом. На столе перед ним две полные коробки гвоздик — в одной белые, в другой красные. Каждому из входящих в церковь — мужчинам и женщинам — Руди вручает гвоздику: красную — тем, кто со мной спал, белую — тем, кто говорит, будто спал. Один Руди знает правду!

Церковь набита битком. Красные с одной стороны, белые — с другой. Смотрят друг на друга волками! Между тем Берт Баккарак начинает мою увертюру, все в ярости, все безумно друг к другу ревнуют — точь-в-точь как было при моей жизни! Дуглас Фербенкс является в визитке, держа в руках письмо из Букингемского дворца. Ремарк в церковь так и не явился — напился где-то и забыл адрес. Жан с сигаретой «Голуаз» в зубах прислонился к стене церкви — он отказывается войти внутрь. Над всем Парижем разносится колокольный звон...»

Сочиняя этот сценарий, Марлен и не представляла, что уйдет из жизни, похоронив многих своих героев.

И вот все они — в траурных рамках на стене ее гостиной, а жизнь продолжается.

Восьмидесятипятилетней Дитрих была присуждена премия американской Академии высокой моды. Полагали, что это последний дар уходящей из жизни легенде. А Мэсси, как прозвал ее внук, предстояло прожить еще более десяти лет.

## 24

— Мария, ты наконец угомонишься? Можно подумать, что гоняешься за каждой пылинкой! — Марлен, не встававшая с постели уже много лет, ненавидела уборки и мытье в ванной. — Я совершенно чистая. Достаточно обтереться влажной губкой.

— Сейчас, я уже завершаю борьбу с энтропией. Расчистила твой холодильник и забрала грязное белье. Теперь возьмусь за тебя. — Закончив уборку,

Мария обтерла тело матери влажной губкой, накрыла чистым одеялом и присела рядом.

Хрустя маринованным огурчиком, Марлен принялась листать свежий «Вог».

— Ты только посмотри на этих уродок! Как из помойки вылезли и, судя по глазам, — все законченные наркоманки! Высокая мода! Да они понятия не имеют, что делают! Полное безобразие. Помнишь Тревиса? У него были хорошие идеи, но в основном он прислушивался ко мне. Помнишь платье с петушиными перьями из «Шанхайского экспресса»? Мы возились всю ночь и Тревис все же нашел то, что надо! До чего же они были хороши, эти перья, какая работа! И я тогда сама придумала туфли. Шанель сделала точно такие много лет спустя. Какая же она была мошенница: придумает одну выкройку и повторяет ее тысячу раз! И это называется «великий модельер»! Она была костюмершей, а не модельером. А на черной сумочке к платью с петушиными перьями был белый рисунок в стиле арт-деко. Мы старались, чтобы все было великолепно. Без какой-то там халтуры. А теперь? Теперь на

актеров напяливают все что попало. И они думают, зрители это запомнят? Память хранит только нечто исключительное... — Марлен умолкла, словно пытаясь вспомнить что-то.

— Верно — исключительное, — подхватила Мария. — Меня потрясли кущи белой сирени в твоих комнатах в «Ланкастере». Сказочная красота! А запах... Помнишь? Кажется, это было в ноябре?

— Конечно, помню! Бони обожал сюрпризы! Наверно, он опустошил все оранжереи во Франции... И еще, кажется, были хризантемы... — Марлен захлопнула журнал и быстрым движением пригубила чашку с предусмотрительно разбавленным Марией виски. — Сирени больше нет, Бони нет, а я все помню. Зачем?

— Так устроена жизнь, Мэсси. — Мария поспешила принести пакет с открытками и газеты. Настроение Марлен могло резко меняться, приводя к слезам и раздражительности. — Смотри, здесь свежая почта.

— Вчера я получила открытку от поклонника, где я в изумительном белом парике со страусовыми перьями. Это из «Кровавой императрицы». Не понимаю, почему разрешают продавать открытки с моим изображением? И зарабатывать на этом деньги? — Марлен отбросила газеты на «письменный стол». — Когда я жила в пансионе в Веймаре, я пошла на костюмированный бал в белом парике... Там был Альберт Ласки — ну, тот самый, что лишил меня... как это называется... лишил меня невинности. Он был дирижером Венской оперы. Я пришла к нему домой, разделась догола, села на диван и сидела, пока он играл на рояле... думаешь, я сняла парик? Не сняла, даже когда мы легли в постель.

— И от этого все стало еще более волнующим?

— Глупости! Ничего подобного. Просто я этот парик обожала!

— А как же насчет скрипичного учителя? Ведь это он... он лишил?

— Ох! Он был веймарец. Но не такой симпатичный. Он и получил свое, как бы там оно ни называлось, прямо в музыкальном классе на кушетке. А какие звуки издавала кушетка? Именно — пррр! — Марлен рассмеялась.

Мария замерла, смотря на нее так, как смотрела много-много раз и маленькой девчонкой, и зрелой женщиной — с полным непониманием. Она знала о своей матери все, порою ненавидя и презирая ее. Она подхватывала ее пьяную за кулисами, прятала от журналистов, переодевала и мыла. Но вспыхивали софиты, Марлен появлялась на сцене, и Мария вновь попадала в магический круг ее власти. Теперь она видела девяностолетнее немощное тело во всей его брэнной ничтожности, но... Но магия не рассеивалась.

Худенькая старушка свернулась на краю матраца, подтянув колени. Мария подумала, что никогда так и не сможет понять ее — это чудовище, эту великую женщину, неразгаданную загадку, родную мать.

«Ее ноги высохли, ее волосы, в приступе пьяного безумия обкромсанные маникюрными ножницами, кое-как покрашены фиолетово-розовыми прядями. Зубы, которыми она так гордилась, почернели и выщерблены. Ее левый глаз помутнел от катаракты. Ее когда-то прозрачная кожа похожа на пергамент. От нее исходит запах спиртного и распада. И несмотря на это, что-то еще остается, слабое сияние, возможно, лишь воспоминание о том прежнем, красота такая обволакивающая, такая обвораживающая, такая безупречная, что на протяжении более полувека всех женщин мерили по ее стандарту, а все мужчины желали, чтобы она принадлежала им».

Мария регулярно посещала мать, убирала в комнатах, приносила еду, мыла. Эта уже немолодая женщина пыталась наладить быт матери, подобрать нужных докторов, но неизменно натыкалась на ее упрямство, крепшее по мере того, как слабело тело.

— Мэсси, тебе нельзя обходиться без сиделки. Вчера ты упала и всю ночь пролежала на полу в ванной! — Шестидесятилетняя Мария с трудом перетащила худенькое тело Марлен на кровать.

— Подумаешь, закружилась голова. Я неплохо там выспалась. А синяки пройдут. — Закутав одеялом острые коленки с лиловыми отметинами, Марлен поспешила подкрепиться спиртным. — Отлично согревает!

— Ты слишком много пьешь. И это вместе с таблетками, содержащими наркотик! Ты же вообще перестанешь соображать.

— А зачем мне соображать? Чтобы грызть локти от необратимости ушедшего? От допущенных ошибок? Недосказанных слов, недоделанных дел? Да что ты вообще можешь мне предложить? Выезд на великосветский прием? Ужин с Майклом Дугласом? Отдых на Бали?

— Я могу предложить сиделку, которая могла бы ночью приглядывать за тобой.

— Ага! Решила меня сбавить какой-то ведьме! Еще не хватает — негритянке! Я же вижу, что тебе надоело присматривать за мной... — Марлен всхлипнула. — Когда ты была малышкой... я до года кормила тебя грудью и не отходила ни на шаг... И не забывай, что все твои блага от меня! Конечно, теперь я никто. Кому нужна немощная старуха?

С трудом сдерживая вскипевшее раздражение, Мария присела рядом и призвала на помощь все свое сочувствие, свою любовь к этой женщине. Но любви не было, ее не было никогда. Разве что в те детские годы, когда крошка Мари задирала голову на рождественскую елку, явившуюся в жаркую Калифорнию. И еще — на киноплощадке: Мами, стоявшая перед камерами, казалась ей сказочной королевой. Потом было столько всего — предательств, унижений, разочарований. Шестнадцатилетняя Мария призналась Ремарку, которого считала другом: «Я не люблю ее». Временами это чувство даже нельзя было назвать нелюбовью — это была ненависть. Ненависть, смешанная с жалостью.

— Мэсси, взгляни на меня. Посмотри хорошенько. Кто я?

— Моя дочь. Дочь Марлен Дитрих!

— Я — Мария Рива, отдельный и уже немолодой человек, Мэсси. У меня четверо взрослых сыновей, внуки, муж, профессия, друзья. Свои горести и удачи. А ты все еще считаешь, что держишь в услужении ту глупышку, которая даже толком не знала, сколько ей лет, подчиняясь единственному желанию — угодить маме...

— Ты не похожа на меня. Совсем не похожа. — Марлен потянулась за бутылочкой «скотча». — Ни характера, ни внешности.

— Помню, как репортеры в первую очередь старались заглянуть мне под юбку — так ли хороши ножки дочери? Хотя и по лицу было видно — дочь не удалась. — Мария вырвала бутылку из цепких исхудалых рук.

Марлен сверкнула на дочь гневными глазами.

— За это ты и ненавидела меня всю жизнь.

— Я разрывалась между желанием боготворить тебя и презрением.

— Презрением? Ты сказала — презрением?! За все, что я для тебя сделала? — Приподнявшись, Марлен без сил упала на подушки. В ее глазах сверкали злые слезы. — Зибер тоже гордился тем, что сумел под конец избавиться от меня. И Тами! Я, видите ли, мешала им! Мешала тебе! Всем! Неблагодарные психи! Я всю жизнь вкалывала ради вас! Из последних сил...

Мария поднялась:

— Извини, что затеяла этот разговор, Мэсси. Иногда мне кажется, ты способна понять. А потом... Извини.

— Понять что? Что я была не такая, как вы, не такая, как все? Что позволила своим близким купаться в лучах своей славы? В моих деньгах, моем обществе, пользоваться моей властью?

— Я боялась говорить моим знакомым, кто моя мать. Я просто хотела нормальной семьи. И папа хотел нормальную жизнь. А Тами... Тами вы оба загубили.

— Хватит с меня этих слезливых легенд! Слабаки всегда сваливают на кого-то свои беды. Ты все время тычешь мне в глаза, что я поселила тебя с Пираткой и эта лесбиянка развратила тебя! А почему ты попросту не сбежала? Почему не пожаловалась отцу, не попыталась всё объяснить мне? Тебе нравилось! Нравилась свобода, ее подарки! Нравилось пить!

— Мама! Я давно хотела сообщить тебе — я пишу книгу. Про тебя и про всех нас. Стараюсь не дать волю раздражению и обиде. Хочу рассказать правду.

— Правду?! — Вцепившись в край одеяла, Марлен попыталась привстать, но не смогла. Лишь тяжело дышала, сраженная услышанным. Жидкие волосы, кое-как подкрашенные, прилипли ко лбу, тонкая, в перевязи синих вспухших жил рука комкала одеяло. — Кому она нужна, твоя правда? Всю правду сказала в своей книге я. Больше никто не имеет права! Ты слышишь — никто! Я тебе запрещаю!!!

— Ты уже ничего не можешь запретить мне. — Взяв сумку, Мария пошла к двери. — Завтра ровно в двенадцать я принесу тебе горячий обед.

— Не смей! Не смей приходить! — Марлен швырнула ей вслед тарелку и уткнулась лицом в подушки. — У меня нет дочери.

С тех пор она упрямо писала в своем дневнике: «Мария опять не приходила».

Мария же зачеркивала надпись и вписывала: «Мария была».

Так продолжалось изо дня в день. Марлен продолжала играть в собственную заброшенность, как многие годы играла в неблагодарность дочери, смачно описывая своим друзьям «ее выходки».

А Мария торопилась завершить книгу, в которой были и восторг, и преклонение, и страшная, возможно, преувеличенная обидой правда.

Согласно версиям, Марлен умерла от инфаркта 6 мая 1992 года в своей квартире на авеню Монтень в Париже, прочитав книгу своей дочери «Моя мать Марлен». Она решила, что факты, разоблачающие ее версию жизнеописания, убьют дело ее жизни — с отчаянной последовательностью построенную легенду Великой и Неповторимой. Как ни странно — откровения Марии лишь увеличили интерес к Марлен. Миллионы людей на разных континентах оплакивали легенду.

Май только начинался. Кусты в парках и скверах ломились от цветущей сирени. Гроб, задрапированный французским флагом, был установлен перед алтарем ее любимой церкви Св. Магдалены, многочисленные военные награды лежали рядом. Люди всё шли и шли, отдавая Марлен последние почести.

Оцинкованный гроб — надежное убежище от папарацци. Ни одна вспышка не осветила ее безжалостную старость. Каждый пришедший сюда, обращая взгляд к закрытому гробу, видел лишь светлое юное лицо, застывшее в последней манящей улыбке.

Марлен завещала, чтобы ее похоронили в родном Берлине, но согласие на захоронение было получено от немецких властей не сразу — ей не могли простить антинацистскую деятельность. Спустя десять дней Дитрих все-таки вернулась на родину. Перед тем как отправить гроб в Германию, трехцветный французский флаг заменили Государственным флагом США, дабы показать всем, что Марлен Дитрих, несмотря на все ее романтические привязанности, гражданка Америки.

Идиллическое кладбище Шенеберга — зеленое предместье Берлина, где жила семья Дитриха-Лоша, — будто нарочно придумано для возвращения романтической девочки. Здесь она и покоится рядом с матерью, под покровом ландышей.

В 1998 году новая площадь в Берлине была названа ее именем, а спустя десятилетие после смерти, 18 апреля 2002 года, Марлен Дитрих было присвоено звание почетного гражданина Берлина как «посланнику демократической, свободолюбивой и человеческой Германии» в надежде, что это «станет символом примирения Берлина с ней».

Длинная жизнь, очень длинная, насыщенная событиями жизнь. Все дальше уносит река времени даты, размывает островки памяти. Остались фото, киноленты, записи. Остались

письма Ремарка — лучший по своей поэтической магии, по несокрушимой вере в колдовскую магию слова — последний любовный роман XX века. И что бы еще ни говорилось о Марлен и Эрихе, главное прозвучало давно. Но не было понято по-настоящему.

«Я писал тебе когда-то: «нас никогда больше не будет». Нас никогда больше не будет, сердце мое.

Коротко любимая и нерушимая мечта...»

А если бы было понято? Разве что-то могло сложиться иначе? А разве может пришедший в жизнь понять уходящего, сытый голодного? Увы. Из всех болезней людского непонимания, непонимание влюбленного и разлюбившего — самое безнадежное.

## Рецензия Распопина В.Н

Во второй половине 2007 года популярная «вагриусовская» серия о любви выдающихся людей (см. на нашем сайте рецензии на книги И. Емельяновой «Пастернак и Ивинская», С. Сеничева «Александр и Любовь», Ю. Сушко «Владимир и Марина», Б. Носика «Анна и Амедео») в третий раз изменила формат, вместе с ним и оформление и ко всему обрела, наконец, название «Двое». Серия пополнилась несколькими книжками, из которых мне удалось познакомиться пока лишь с одной. Это — работа Людмилы Владиславовны Бояджиевой, известной еще с советских времен писательницы и искусствоведа, в последние же годы автора немалого числа романов легкого жанра, написанных с благой, но, на мой взгляд, изначально обреченной на неуспех целью адаптировать для современного не читающего сознания «Графа Монте-Кристо» и тому подобную классическую беллетристику. Упаси Бог, я не о том, что Л.В. Бояджиева неспособный литератор. Как раз напротив — очень даже способный. И — профессиональный искусствовед, чему свидетельством ее серьезная книга в серьезной серии «Жизнь в искусстве» о Максе Рейнгардте. Просто я думаю, что любая попытка подстроиться под не читающее сознание именно что изначально обречена, если, конечно, истинной сущностью подобных акций не является естественное желание быстро и без затей заработать приличные деньги. Хуже того, я не думаю, что основная масса представителей не читающего сознания вообще должна читать книжки, да и получать полное среднее образование — тоже. Зачем, если ничего сложнее таблицы умножения это сознание все равно не воспримет? Зачем, если Голливуд, Болливуд и отечественный глянец вполне удовлетворяют культурные запросы массы? Зачем, если идеалистическую ветку развития под руководством кремлевских мечтателей мы уже однажды проходили, и самая читающая в мире страна от мала до велика просто и естественно ограничила свои интеллектуальные потребности Дэном Брауном и Донцовой, если пятитысячный тираж для сколько-нибудь отличающейся от названных примеров книги уже избыточен, классика переиздается лишь под премьеру телесериала, а серьезная специальная литература скоро, как в Америке, будет печататься только на ризографе и только под заказ, хоть в одном экземпляре.

Впрочем, речь не об этом. Речь о книжке Людмилы Бояджиевой «Дитрих и Ремарк», вышедшей в 2007 году в «вагриусовской» серии «Двое». Она оставляет, мягко говоря, двойственное впечатление. С одной стороны, увлекает, хотя, в сущности, не более чем компонует и пересказывает хорошо известные мемуары Марлен Дитрих, ее дочери, а также письма и (немного) романы Ремарка. В этом смысле критиковать автора, пожалуй, не за что, хотя — как посмотреть... Конечно, книжка и называется «Дитрих и Ремарк», и с самого начала утверждает: Дитрих — главная героиня повествования. В ее бурной жизни Ремарк — пусть прекрасный, однако лишь эпизод. Но, право же, если говорить о большой любви (а серия-то именно о ней, о большой любви выдающихся людей!), то она-то как раз была не у Дитрих к Ремарку, а у Ремарка к Дитрих. И именно Ремарк превратил эту любовь в несколько сильнейших романов трагической эпохи заката христианской культуры. Именно



Ремарк — даже не романом писем к Дитрих, а именно «Триумфальной аркой» и «Тенями в раю» — создал прекрасный надгробный памятник и этой любви, и эпохе, и, пожалуй, всей классической художественной литературе. Последней — уж точно не намеренно и, скорее всего, потому, что сам ни по масштабу личности, ни по масштабу дарования, ни по судьбе классиком не был, а был художником маньеристского склада (в широком смысле термина) и истериком. В то же время холодная, расчетливая Дитрих... Я просто хочу сказать, что мне при чтении книжки Л. Бояджиевой не хватало Ремарка, а Дитрих уже к середине небольшого повествования смертельно надоела. Ну, вот представьте себе, что книжка о любви-ненависти Блока и Менделеевой была бы написана с позиции Любви Дмитриевны. А что? Она ведь тоже была бездарной актрисой!..

С другой стороны, увлекательное это чтение, пожалуй, излишне развлекательно для серии, в которой прежде выходили несколько более серьезные повести, во всяком случае, тексты, не совмещающие прямую речь героев, придуманную автором, и фрагменты из их книг и писем. Вообще говоря, смешение стилей в книжке Людмилы Бояджиевой чисто окрошечное. Начинается она как дамский роман: — Ты меня любишь? — Да! — Ах! — и он поднял ее сильными руками высоко-высоко к синему небу весеннего Парижа, и она задохнулась от запаха цветущих каштанов... Ну, примерно так, затем переходит в правильный, привычный, данный как бы от незаинтересованного третьего лица рассказ о молодости нашей ушедшей героини. И только к середине книжки, пересказав множество эротических подвигов Марлен, автор наконец добирается до Ремарка. А потом, естественно не бросая уже насовсем беднягу, время от времени возвращаясь к его письмам и романам, вновь, всерьез и надолго, обращается к актрисе, к ее новым победам, чередующимся, однако, в силу возраста, уже с поражениями, чтобы в конце концов, сохраняя в душе восхищение, некоторым образом развенчать эту женщину, никого за долгу свою, почти столетнюю жизнь, кроме самой себя, не любившую и ничего, в сущности, не создавшую в искусстве, кроме, разве что, моды на лесбийский стиль одежды. Подумаешь — не Дитрих, так какая-нибудь другая эмансипе сделала бы то же самое в то же самое время!..

Есть, однако, и третья сторона, так сказать, взгляд сверху. Вот этот взгляд сверху позволяет увидеть, что, написанная примерно так, как пишут очерки для журнала типа «Караван историй», эта книжка, если читать ее внимательно, не увлекаясь слишком-то экзотическими похождениями голливудской эротоманки, переспавшей со всеми сколько-нибудь выдающимися представителями и представительницами Старого и Нового Света от старшего Кеннеди и Чаплина до Жана Габена и Эдит Пиаф, эта книжка сообщает немалое количество не расхожих сведений о культуре и истории XX века, о его творцах — подлинных и мнимых, о тех, кто памятен и забыт, словом о людях, лицах и порой — о ликах, ведь и самый обычный человек в иных обстоятельствах становится героем (перечитайте Ремарка — это, в общем-то, его главная тема).

Приведу один только пример. Немало читавший Ремарка и о Ремарке, с восхищением относящийся к творчеству Лени Рифеншталь, я, например, не знал, что первый знаменитый свой роман, «На Западном фронте без перемен» молодой писатель создал за шесть недель, которые прожил как раз у Лени, будущей звезды нацистского, а впоследствии — это ведь воистину исключительный случай в истории! — и мирового кино, на ту пору — юной белокурой актрисы, возлюбленной малоизвестного сочинителя.

Таких примеров можно было бы привести немало, но, к сожалению, необходимо привести примеры совсем другого характера. И это — четвертая сторона дела, едва ли не в целом перекрывающая все его достоинства. Чья вина в том, о чем я сейчас расскажу, — не знаю. На автора, многолетнего сотрудника Института Искусств и, как уже было сказано, известного искусствоведа, занимающегося как раз немецкой культурой, подумать, вроде бы, грешно. Разве на наборщицу? И уж точно вина лежит несмываемым пятном на ведущем редакторе книжки А.В. Коваленко и редакторе Т.И. Лошкаревой. Видите ли, дело в том, что, во-первых, на странице 166 черным по белому написано: «Ремарк снова пылает страстью и, проведив Марлен в Америку, вскоре уезжает в Порто-Ронко, чтобы работать на

романами «Триумфальная арка» и «Возлюби ближнего своего» («Жизнь взаимы»)). Но ведь всякому, кто читал Ремарка, известно, что «Возлюби ближнего...» и «Жизнь взаимы» — совершенно разные вещи.

Это, однако, не главный перл издания. Главный — на странице 21, где рассказывается об атмосфере грядущего конца света, царящей после Первой мировой войны в культурном Берлине. Цитирую: «Страшным пророчеством упиваются — оно щекочет нервы, придает наслаждениям пряный привкус. Книга *Оскара Шопенгауэра* (курсив мой. — *В.Р.* ), предсказывающая закат Европы, столь же популярна, как джаз или теория относительности... Лена фон Лош (настоящее имя Марлен Дитрих. — *В.Р.* ) обожает поэта Костнера, щеголяет цитатами из Шопенгауэра...» и так далее.

И здесь уж, право, трудно обвинить малограмотных наборщиков. Вряд ли кому из них придет на ум самостоятельно «губы Никанора Ивановича да приставить к носу Ивана Кузьмича»... Не было в немецкой культуре такого философа — Оскара Шопенгауэра, был Артур Шопенгауэр, но блистательный и во многом воистину пророческий труд «Закат Европы» принадлежит не ему, а Освальду Шпенглеру. В моей молодости это знали даже некоторые студенты Новосибирского института советской кооперативной торговли, не говоря уж о профессиональных искусствоведах, занимающихся немецкой культурой XX века.

В результате не знаю, что и сказать. Рекомендовать эту, в общем, разбросанную и неряшливую, никакой оригинальной концепции не предлагающую, да еще же и грешащую столь крутыми ляпами книжку неподготовленному читателю, конечно, не имею права. Подготовленный же читатель все главное знает или может узнать и без посредничества Людмилы Бояджиевой, прямо из тех же книг Ремарка, Дитрих и ее дочери, Марии Ривы, из которых ничтоже сумняшеся черпала полным ковшом и Людмила Владиславовна. Благо, к сегодняшнему дню все они изданы, прежде всего, тем же «Вагриусом», и легко доступны.

## Комментарии

### 1

ливерной колбасы; — прим. авт.